



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

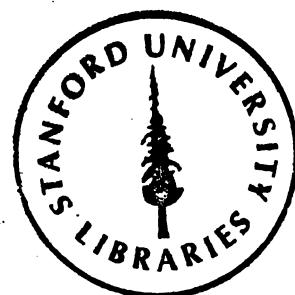
PG
3011
M48

8

M60

199
2353.

1995



Digitized by Google

~~WZ~~

891
M-38

ОТГОЛОСКИ

~~1914~~

~~986.~~

Милюков, Aleksandr Petrovich

2

ОТГОЛОДСКИЙ

на

ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЯВЛЕНИЯ.

КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

А. МИЛЮКОВА.



5-60

С. Петербургъ.

ТИПОГРАФІЯ Ф. С. СУЩИНСКАГО.

Екатерининскій каналъ, 168.

1875.

Р63011

М48



ПОСВЯЩАЕТСЯ

Льву Николаевичу

ВАКСЕЛЮ.



СОДЕРЖАНИЕ.

	ст.
Русская анатомия и немецкая деятельность	1
Современная героическая поэма	33
Петровский переворотъ	41
Мертвые души большого света	58
Публичные лекции при Академии наукъ	82
Преступники и несчастные.	100
Наша историческая драма	111
Вопросъ о малороссийской литературѣ	126
Сынъ дьячка и купеческая дочка	164
Поэтъ славянизма	175
Мертвое море и взбаламученное море	188
Бурса въ школѣ и литературѣ	204
Родина скептицизма	222

РУССКАЯ АПАТИЯ

и

ИМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

(„Обломовъ“, романъ Гончарова).

Благодаря талантамъ, по самому роду призванія своего исключительно занятыхъ анализомъ общественной жизни и искусства, критика наша меньше, чѣмъ другіе роды литературы, зависѣла оть обстоятельствъ и временныхъ интересовъ. Вдумываясь постоянно въ отношеніе искусства къ жизни, а следовательно и въ смыслъ самой жизни, она въ лицѣ Бѣлинскаго успѣла выработать взглядъ, основанный на принципахъ и убѣжденіяхъ, который далъ ей обширное значеніе въ нашемъ общественномъ развитіи. Но несмотря на бойкое чутье истины, въ нашей критикѣ замѣтны по временамъ косвенные шаги въ сторону, отчего при всѣхъ достоинствахъ она нерѣдко обходитъ замѣчательное и танетъ въасъ къ посредственному, объ одномъ не позволяетъ отзваться съ уваженіемъ, о другомъ не

дастъ сказать самаго безобиднаго замѣчанія. Въ этомъ отношеніи русская критика, далеко превосходя современную французскую, не можетъ еще дорости до твердаго самосознанія критики англійской. Въ Англіи является, напримѣръ, Диккенсъ, и съ каждымъ новымъ романомъ растетъ его авторитетъ; но критика, опредѣляя талантъ его, указывая на силу творчества и обширность общественнаго значенія, въ то же время говорить открыто, что у автора «Крошки Дорритъ» нѣтъ умѣнья въ постройкѣ плана, что въ основѣ его вымысла нерѣдко лежитъ какое-нибудь странное сплетеніе случайностей. Это нисколько однажды не мѣшаетъ Диккенсу пользоваться огромнымъ авторитетомъ. У насъ не такъ: мы ужъ если разъ взлюбимъ кого, такъ готовы побить каменьями всякаго, кто отважится сказать не вполнѣ хвалебное слово насчетъ обожаемаго кумира. Попробуйте, напримѣръ, при всемъ уваженіи къ таланту и заслугамъ Гоголя, сказать, что языкъ въ послѣднихъ его сочиненіяхъ нельзя признать безукоризненно-изящнымъ, что складъ его рѣчи отличается тяжелымъ механизмомъ, нехудожественнымъ строемъ, и съ вѣнѣшней стороны ниже языка нетолько Тургенева или Гончарова, но и многихъ беллетристовъ! Такой отзывъ многимъ покажется дикимъ, и васъ назовутъ чуть не глупцомъ и невѣждой. Это породило у насъ крайнюю щекотливость въ писателяхъ относительно критики. Зная, что въ литературныхъ солнцахъ пятенъ замѣчать не любятъ, писатели наши смотрятъ неблагосклонно на критические отзывы,—и сказать что-нибудь не совсѣмъ хвалебное о признанномъ авторитетѣ считается дерзкимъ покушенiemъ на авторскую извѣстность, желаніемъ оскорбить и унизить талантъ.

Между-тѣмъ эта щекотливость въ писателяхъ и самой критикѣ нѣтолько мѣшаетъ вѣрному опредѣленію талан-

товъ, но—что гораздо важнѣе—способствуетъ обращенію въ публикѣ мнѣній ошибочныхъ и нерѣдко вредныхъ въ эстетическомъ или общественномъ значеніи. Мы этимъ, разумѣется, не думаемъ намекать на неразвитость нашей публики, а хотимъ только замѣтить, что большая часть ложныхъ понятій образуется въ ней съ голоса критики. Все это повторилось при появленіи романа Гончарова. Встрѣчаясь понятнымъ восторгомъ новое произведеніе даровитаго писателя, мы свернули въ сторону, увлеченные или художественными достоинствами романа, или желаніемъ показать свой идеалъ общественной жизни, — и въ публикѣ начали распространяться преувеличенные толки о томъ, что въ Обломовѣ въ первый разъ явилась глубокая идея о нашемъ обществѣ, сказано новое слово о прошедшемъ и будущемъ Россіи. Какая-же это небывалая идея? какое это до-сихъ-поръ незнакомое намъ слово?

Не будемъ распространяться о томъ, что обыкновенно разумѣютъ подъ идеей и новымъ словомъ въ художественномъ произведеніи. Поэтъ, такъ-же какъ мыслитель и публицистъ, можетъ высказывать общественные истины, но только въ художественномъ созданіи, въ красотѣ поэтическихъ образовъ, потому-что поэтъ говоритъ только прекрасными формами. Въ нихъ-то развивается идея, которая проникаетъ все его созданіе, даетъ ему жизнь и значеніе. Поэтому идея художественного произведенія чужда всякой аллегоріи, не связывается съ нимъ какъ посторонняя мысль, не выражается въ видѣ какой-нибудь сентенціи, а воплощается въ лицахъ и образахъ, во всей цѣлости созданія художника. Вотъ отчего и самъ поэтъ по большей части не видитъ ее какъ мысли, потому-что онъ мыслить не иначе, какъ образами. Нерѣдко кажется, будто идея въ художественномъ созданіи выводится помимо образовъ, но

это только кажется. Возьмемъ что-нибудь общезвестное, напримѣръ байронова «Шильонскаго Узника». Что за идея въ этой маленькой повѣсти, такъ небогатой виѣшнимъ дѣйствіемъ? Конечно страданія человѣка, въ глазахъ котораго гибнуть въ тюрьмѣ его два брата. Но одно-ли это такъ обаятельно приковываетъ насъ къ поэмѣ? Нѣтъ: въ этой повѣсти воплощена другая, высшая идея, которая не выскаживается прямо ни однимъ словомъ, но вѣтъ во всемъ созданіи поэта и проникаетъ его болѣе глубокимъ значеніемъ. Передъ нами человѣкъ, съ энергией въ душѣ, съ сердцемъ полнымъ любви, прикованъ къ каменному столбу и видѣть, какъ вокругъ, такими-же узниками, гибнутъ его близкіе, его братья, жертвами дикаго тиранства и слѣпой, безмысленной силы, а онъ не въ состояніи помочь имъ, не въ силахъ протянуть руки, не можетъ даже уронить братской слезы на ихъ холодѣющую грудь. Эта идея нигдѣ прямо не выражена, но она проникаетъ невидимо все созданіе художника и широко раздвигаетъ значеніе поэмы. Возьмемъ еще въ нашей литературѣ — рядъ близкихъ по смыслу произведеній, «Евгения Онѣгина», «Героя нашего времени», «Кто виноватъ», «Рудина». Во всѣхъ этихъ поэтическихъ созданіяхъ, въ группѣ болѣе или менѣе родственныхъ лицъ, постоянно развивается одна идея — это вопросъ о значеніи тѣхъ молодыхъ силъ, которыхъ бродятъ въ нашемъ обществѣ, не находя разумнаго выхода. Въ Онѣгинѣ, Бельтовѣ, Печоринѣ и цѣломъ рядѣ лицъ одного съ ними жизненнаго закала мы видимъ типъ, въ которомъ, безъ всякаго аллегорического намека, болѣе или менѣе художественно, воплотилась извѣстная сторона нашей жизни. Положеніе молодаго поколѣнія среди чуждой ему массы, вслѣдствіе недостаточности или ложности его воспитанія, несовременности стремленій или усиленного развитія желаній и идеа-

ловъ, и обыкновенный исходъ всего этого— охлажденіе къ жизни,— вотъ идея, которая постоянно выражалась въ этомъ типѣ, измѣняясь только по мѣрѣ измѣненія нашихъ нравовъ. Исторія этого типа можетъ служить исторіей нашего общества. Если не всякое изъ этихъ родственныхъ лицъ высказывало какое-нибудь новое слово, зато каждое представляло новые фазисы въ развитіи и смыслѣ нашего общественного быта, поставляло болѣе или менѣе ясно какой-нибудь вопросъ нашей дѣйствительной жизни. Всѣ эти лица сдѣлялись нашими представителями, на которыхъ мы повѣрили моменты собственного развитія.

Обратимся же къ роману Гончарова и взглянемъ на его идею и значеніе. Вся грамотная Россія прочла «Обломова» и успѣла познакомиться даже съ критическими взглядами на него, а потому, чтобы не повторять извѣстнаго, будемъ говорить о романѣ, какъ о произведеніи по содержанію своему хорошо уже знакомомъ публикѣ. Съ первого взгляда видно, что романъ относится по смыслу своему къ категоріи поэтическихъ произведеній, выражающихъ общественные вопросы, что авторъ желалъ показать намъ въ Обломовѣ послѣдній типъ, въ который переродился Онѣгинъ, переходя вмѣстѣ съ общественной жизнью по разнымъ ступенямъ нравственного измѣненія. Что-же именно хотѣлъ сказать намъ Гончаровъ своимъ романомъ? въ чёмъ должны мы искать здѣсь новой идеи и новаго слова?

Не вдаваясь въ аллегорическое толкованіе содержанія романа, легко понять, что идея и задача его — написать картину нашей общественной жизни, показать въ лицѣ Обломова русскую лѣнЬ и апатію, которая сроднилась съ обществомъ, и если иногда просыпается отъ столкновенія съ живой дѣйствительностью, то очень ненадолго и потомъ снова входить въ обычное русло мертвеннаго застоя. Мы

не произвольно вывели эту мысль: она лежить въ основѣ романа, выносится изъ характера главнаго лица и всѣхъ положеній дѣйствія. Обломовъ съ начала до конца—въ чемъ согласилась и критика—выражаетъ русскую жизнь, русское воспитаніе. Штольцъ, отражая въ фокусѣ своей личности мысли автора, характеризуетъ апатію своего друга подъ именемъ *обломовщины* и понимаетъ подъ этимъ именно русскую жизнь. Ясно, что Гончаровъ, какъ Пушкинъ въ *Онѣгінѣ*, какъ Тургеневъ въ *Рудинѣ*, хотѣлъ показать намъ въ своемъ Обломовѣ новый характеристической типъ нашего общества. Но неужели-же въ немъ есть правда? Неужели въ этомъ человѣкѣ выразился, какъ многіе увѣряютъ, нашъ національный темпераментъ, неужели это лицо создано по нашему образу и подобію! Мы съ этимъ несогласны. Какъ! Обломовъ — воплощеніе русской жизни, портретъ нашего общества, прозябающаго въ безвыходной лѣни и застоеѣ, онъ новое слово нашего поколѣнія, зеркало, въ которымъ мы должны узнать себя въ настоящее время! Неправда! Мы далеки отъ тѣхъ восторженныхъ возгласовъ, какими многіе услаждаются у насъ, чуть не плача отъ умиленія при исполинскихъ успѣхахъ, какіе будто-бы сдѣлало наше могучее общество; мы вовсе не вѣrimъ тѣмъ поэтическимъ увлеченіямъ, съ какими увѣряютъ насъ, что русскій богатырь шагнулъ въ послѣднее время до крайнихъ предѣловъ прогресса, обнаружилъ гигантскія силы, прозрѣлъ глубоко на свои бѣдствія, омыль въ мертвѣй и живой водѣ свои вѣковыя раны и чуть не перегналъ англичанъ и американцевъ въ спасительномъ самообличеніи. Во всѣхъ этихъ лирическихъ проявленіяхъ молодаго, непривычнаго восторга видны пока только слова и слова. Но неужели-же при всемъ этомъ можно обвинить насъ въ обломовской апатіи? Да развѣ эти самые восторги

и возгласы не показываютъ скрѣе какой-то дѣтской живости, хотя и не совсѣмъ можетъ-быть разумной. Мы сдѣлали немногого, но вѣдь и не спимъ-же мы тѣмъ сномъ, который грозитъ апоплексическимъ ударомъ. Мы можетъ-быть не совсѣмъ практически подвигались въ нашихъ реформахъ; но развѣ самыя ошибки въ этомъ не показываютъ скрѣе торопливости и бойкаго увлеченья, понятныхъ въ живой натурѣ, у которой руки долго были связаны. Нашъ крестьянскій вопросъ шелъ можетъ-быть нѣсколько медленно, но гдѣ-же и тутъ мертвая апатія! Со стороны литературы? Но мы видѣли, что она сдѣлала въ этомъ случаѣ все, что могла, и не оставалась лѣнивой зрительницей событія. Со стороны помѣщиковъ, что-ли? Да развѣ мы не знаемъ, что дѣлалось въ комитетахъ, развѣ не нашлись тамъ благородныя личности, энергически стоявшія за дѣло, развѣ и сами Обломовы лѣнились писать письма и проекты и безъ борьбы лежали колодами на диванѣ въ ожиданіи развязки! Мы немножко тяжелы на подъемъ, но вѣдь не считаемъ-же мы невѣроятнымъ подвигомъ какую-нибудь поѣздку въ деревню. Да кто-же большеѣздить за границу, какъ не русскіе, хоть поѣзда для нась немножко труднѣе, чѣмъ переправа чрезъ Рейнъ или Калескій-проливъ. Ужъ конечно въ этомъ перегнали нась не штолицы. Мы сошлемся на самаго автора Обломова. Развѣ сдѣлать кругосвѣтную поѣздку и послѣ того, среди другихъ занятій, написать четыре порядочные тома — доказываетъ обломовскую лѣнью. Мы мало читаемъ, но вѣдь не лежать-же у нась книги по цѣлымъ годамъ разогнутыя на одной и той-же страницѣ! Кто-же подписывается въ Россіи на десятки тысячъ экземпляровъ журналовъ, кто раскупаетъ тысячи томовъ Обломова, какъ не тѣ-же самые ничего не дѣлающіе Обломовы! Нѣть: если въ нашемъ обществѣ проявлялась апатія,

это зависѣло отъ вѣшнаго гнета,—и всякий разъ, когда обстоятельствамъ случалось сдвинуть его, натура русская являлась хоть неразвитой, но вовсе не апатичной.

Наша литература давно поняла это, и вотъ отчего въ ней такъ долго жилъ типъ человѣка недовольнаго жизнью, разочарованнаго или озлобленнаго вслѣдствіе препятствій, мѣшающихъ найти разумную опору. Тутъ литература была права: она понимала причину явленія. Вспомните этотъ рядъ грустныхъ и знаменательныхъ лицъ, начиная съ Онѣгина и оканчивая Рудинымъ. Въ нихъ мы видимъ то человѣка, оторваннаго отъ живой дѣятельности пустымъ свѣтскимъ воспитаніемъ, то жертву юношескаго непониманія жизни и общества,—но всѣ они съ началами свѣжей натуры, съ живымъ, энергическимъ умомъ и сердцемъ, и ихъ апатія развивается только отъ неразумнаго направленія дѣятельности или отъ невозможности удовлетворить сѣй въ той сдавленной средѣ, гдѣ они родились. Все это дѣти нашего общества.

Но чтобы показать отличіе Обломова отъ этихъ типическихъ лицъ, припомнимъ поэму Майкова «Двѣ судьбы» и ея героя, Владимира. Мы беремъ его потому, что это едвали не самая печальная личность, можетъ-быть оттого, что онъ жилъ въ болѣе тяжелое время. Владимиръ, не смотря на жалкую развязку его жизни и нравственное паденіе,—все еще симпатиченъ. Встрѣчая этого человѣка послѣ какого-то столкновенія съ жизнью, мы еще находимъ въ немъ свѣжія силы — увлеченье искусствомъ, любовь къ отечеству и уваженіе ко всему, что свободная жизнь показала ему широкаго и человѣчнаго у другихъ. Онъ любить Италію, но мысль его постоянно обращена къ родинѣ, и среди чудесъ классической страны онъ постоянно доспрашивается о задачѣ нашей жизни. Его упорно преслѣдуетъ дума:

Зачемъ такъ стараемся рано,
И скоро къ жизни холодаѣмъ мы?
Вдругъ никнегъ духъ, черствѣютъ вдругъ умы!
Едва восходъ блеснетъ зари румяной,
Едва дохнетъ зародыши высшихъ силъ,
Едва зардѣаетъ пламень благородный—
Какъ вдругъ, глядишь, заяль, умолкъ...

И отвѣтъ на это таится отчасти въ самой его натурѣ, полной жизни и энергіи, въ которой «только заперто, а не погасло чувство». И мы вѣримъ, что онъ не рисуется, когда на вопросъ о его страданіяхъ отвѣчаетъ:

Какъ вамъ назвать ихъ?...
Душевной пустотой? Нѣтъ, иногда
Душа полна восторга и въ волненіе
Ее приводитъ доблѣсть, вдохновеніе
И образъ геніального труда...
Иль сномъ ума? Нѣтъ, онъ не спитъ и шумно
Работаетъ и любить онъ труды;
Онъ труженикъ: какъ рудокопъ безумный,
Все роется и ищетъ онъ руды;
Но до нея не можетъ онъ дорохнуть,
И подрывается только то, что въ немъ
Святѣшаго, небеснаго таинства.

Скоро, правда, находимъ мы этого юношу въ деревнѣ, бариномъ и помѣщикомъ: онъ потолстѣлъ, перестаетъ мало-по-малу читать и въ промежуткахъ обѣдовъ и ужиновъ только насиживаетъ Casta diva и ходить диагонально по комнатѣ. Но онъ очевидно скучаетъ въ этой апатіи, сердится на свое бездѣліе—и въ послѣднихъ словахъ его, «въ ъдѣ спасеніе только есть», слышится скорѣе сарказмъ человѣка, надломленного борьбою, чѣмъ послѣдній отголосокъ задавленной жизни.

И всѣ эти Онѣгины, Печорины, Рудины—лица родственныя Владиміру. Вы негодуете на этихъ людей, но чувствуете къ нимъ сожалѣніе, не отказываете имъ въ сим-

пати, потому-что въ нихъ все-таки видна живая сила, испорченная только средою и жизнью.

Съ первого взгляда кажется, будто Обломовъ похожъ на эти знакомыя лица, но въ сущности сходство это только внѣшнее. На самомъ дѣлѣ это натура совершенно иная. Онъ можетъ-быть честнѣй Онѣгина, благороднѣй Печорина, нѣжнѣй Владимира; но вы невольно отворачиваетесь отъ этой личности. Отчего-же это? Оттого, что въ тѣхъ людяхъ, при всей ихъ нестойкости въ борьбѣ, все-же есть жизнь, молодая сила, русская мощь, только подавленная извѣнѣ, а здѣсь одна врожденная апатія, несомнѣстная съ нашей натурою дряблость; оттого, что тамъ въ охажденіи ихъ чувствуется вліяніе ненормальной жизни, а здѣсь видѣнѣ, по выраженію Гоголя, человѣкъ-тряпка по самой своей природѣ. Въ онѣгинскомъ типѣ мы видимъ потокъ, холодной температурой закованный въ ледяныя щѣпи; въ обломовской личности встрѣчаемъ стоячую лужу, покрытую сплошной гнилью. Повѣтъ дыханіе свободного вѣтра, взойдетъ теплое весеннее солнце,—тамъ ледяная кора лопнетъ, сбѣжитъ внизъ съ накопившейся на ней грязью, и потокъ засверкаетъ, загремить съ ропотомъ жизни; здѣсь вѣтеръ только на время отгонить тину къ одному враю лужи, а солнце чѣмъ будетъ грѣть теплѣе, тѣмъ больше породить міазмовъ.

Во всѣхъ измѣненіяхъ онѣгинскаго типа источникъ зла — ненормальное воспитаніе и гнетущая жизнь. Гончаровъ такъ-же хотѣлъ показать сномъ Обломова, что апатія и лѣнь его героя есть только слѣдствіе нелѣпо-барскаго воспитанія. Мы хорошо знаемъ, до какой степени воспитаніе можетъ извратить человѣческую натуру, но знаемъ тоже, что оно не убьетъ окончательно человѣка, если въ душѣ его есть сколько-нибудь врожденной силы. И Онѣ-

гинъ, и Рудинъ воспитаны дурно,— но мы видимъ въ нихъ людей испорченныхъ жизнью, а не дряблыхъ. И какое-же воспитаніе получили Ломоносовъ, Пушкинъ, Дашкова! Нѣтъ, лѣнъ и апатія Обломова происходятъ не столько отъ воспитанія, сколько отъ негодности самой его натуры, отъ мелкости умственныхъ и душевныхъ силъ. Что въ четырнадцать лѣтъ онъ зараженъ уже дикими барскими понятіями,— это у насъ не новость. Положимъ, тутъ многое зависитъ отъ воспитанія, но неужели все? Неужели Захарь, натягивая ему всякий день чулки, или нянька, запрещая бѣгать въ оврагъ, испортили этимъ порядочную натуру дотого, что даже и университетъ не могъ ничего разбудить въ душѣ. Въ романѣ Диккенса — мистеръ Дорритъ живеть двадцать лѣтъ въ долговой тюрьмѣ, съ двумя дочерьми, изъ которыхъ меньшая и родилась тамъ. Когда онъ получаетъ наслѣдство, изъ нищаго дѣлается капиталистомъ, начинаетъ разыгрывать полу-лорда, береть дочерямъ аристократическую воспитательницу, окружаетъ ихъ цѣлымъ штатомъ служанокъ,— одна изъ дочерей его тотчасъ-же переходить на роль знатной лэди, а простодушная Эми остается прежнею крошкой Дорритъ, тяготится новой обстановкой и даже съ неудовольствиемъ принимаетъ услуги горничныхъ. Вотъ гдѣ разница воспитанія и самой натуры. Положимъ, что Обломовъ освобождается впослѣдствіи отъ нѣкоторыхъ привычекъ деревенского барства и не поддаетъ уже Захаркѣ ногою въ носъ, но это вовсе не оттого, чтобъ какіе-нибудь разумные принципы восторжествовали надъ его воспитаніемъ. Напротивъ, въ немъ остаются всѣ замашки барства, сродныя его натурѣ, и онъ съ убѣждениемъ говорить, что ему нельзя воспитывать своихъ будущихъ дѣтей такъ, чтобы они сами добывали хлѣбъ, потому-что «нельзя изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ». У Обломова такія по-

нятія врожденны и неискоренимы. Это врагъ всего, къ чему стремится Россія, въ чемъ она ищетъ своей будущности: у него отвращеніе къ труду, къ успѣхамъ промышленности, къ грамотности. Когда Штольцъ привозитъ ему новость, что недалеко отъ Обломовки предполагаютъ устроить пристань и провести шоссе, а въ городѣ открыть ярмарку, представитель нашего поколѣнія страшно пугается.

— «Ахъ, Боже мой! говорить онъ, этого еще не доставало. Обломовка была въ такомъ затишье, въ сторонѣ, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужикъ повадится въ городѣ — бѣда!....»

— А ты заведи школу въ деревнѣ! замѣчаетъ Штольцъ.

— «Не рано ли? сказалъ Обломовъ: — грамотность вредна мужику....»

Изъ этого ясно видно, что заговорилъ-бы Илья Ильичъ, если бы дожилъ до нашего времени и узналъ о крестьянскомъ вопросѣ. Какъ-же можно ставить его на-ряду съ Онѣгиннымъ, который съ первымъ шагомъ въ деревню подумалъ о судьбѣ мужика. Это эгоистъ, который дрожитъ за утрату своихъ правъ, хотя вовсе ими не пользуется, трепещетъ за уменьшеніе доходовъ, хотя не знаетъ счета деньгамъ. Обломовъ самъ довольно-мѣтко опредѣляетъ свою мелкую натуру. «Я изношенный кафтанъ, говорить онъ, но не отъ климата, не отъ трудовъ, а отъ того, что двѣнадцать лѣтъ во мнѣ былъ запертъ свѣтъ». Впрочемъ, онъ правъ только въ первой половинѣ своего приговора: дѣло въ томъ, что свѣта-то было въ немъ слишкомъ мало, и онъ износился отъ самой своей негодности, а не отъ внѣшнаго тренія.

При дракости натуры, Обломовъ отличается простотою и самъ признается въ этомъ. «Дай мнѣ своего ума и веди меня,

куда хочешь!» говорить онъ своему нѣмецкому другу. И это признаніе въ ограниченности онъ безпрестанно подтверждаетъ на дѣлѣ. Неужели одна только лѣнъ и апатія можетъ заставить человѣка съ здравымъ смысломъ цѣлые годы обдумывать въ Гороховой-улицѣ планъ устройства отдаленаго имѣнія и ворочать въ головѣ соображенія объ увеличеніи его доходовъ! А между-тѣмъ Обломовъ, «какъ встанетъ утромъ съ постели, послѣ чая ляжетъ тотчасъ на диванъ, подопреть голову рукой и обдумываетъ, не щадя силъ, до-тѣхъ-поръ, пока наконецъ голова утомится отъ тяжелой работы, и когда совсѣмъ скажеть: довольно сдѣлано сегодня для общаго блага!» Что это такое? Лѣнъ и апатія! Если хотите—пожалуй, только апатія въ головѣ, и апатія врожденная. Неужели-же это черта русская! Простота Обломова обнаруживается на каждомъ шагу—и въ нѣжныхъ бесѣдахъ съ Ольгой, и въ довѣрчивости въ Тарантьеву и Мухоярову, послѣ того, какъ онъ самъ убѣдился въ образѣ дѣйствій этихъ негодяевъ. Неужели только «хрустальная душа» заставила Обломова объясняться съ мошенникомъ-хозяиномъ о своихъ дѣлахъ и пускаться въ изліянія о своей непрактичности, о неизнаніи сколько у него крестьянъ и сколько они платятъ оброку, что такое барщина и сельскій трудъ, что значитъ четверть ржи и овса, и когда сѣютъ и жнутъ! Неужели одна лѣнъ и доброта заставили его дать засмное письмо хозяйкѣ и выплачивать по немъ деньги мошенникамъ? Неужели паконецъ можно признать умъ въ человѣкѣ, который отказывается отъ своихъ мыслей по первому слову какого-нибудь Захара.

— «Чтобы тебѣ записывать? (говорить Обломовъ, когда они припоминаютъ свои расходы). Худо быть безграмотнымъ!

— Прожилъ вѣкъ и безъ грамоты, слава Богу, не хуже другихъ! возразилъ Захаръ, глядя въ сторону.

«Правду говорить Штольцъ, что надо завести школу въ деревнѣ!» подумалъ Обломовъ.

— Вонъ, у Ильинскихъ былъ грамотный-то, сказывали люди, продолжалъ Захарь:— да серебро изъ буфета и сташиль.

«Прошу покорнѣйше! трусливо подумалъ Обломовъ. Въ самомъ-дѣлѣ, эти грамотѣи — все такой безнравственный народъ: по трактирамъ, съ гармоникой, да чаи... Нѣть, рано школы заводить!»....

Нѣть, въ этомъ видна не «хрустальная душа», а эгоизмъ и ограниченность.

Чтó-же общаго между живымъ онѣгинскимъ типомъ и этой карикатурой на русскую жизнь? Чтó общаго между Бельтовымъ и Владиміромъ, представляющими дѣйствительныя лица, и этимъ увальнемъ, который всю жизнь пролежалъ на диванѣ, для которого, по словамъ автора, лежанье было не случайностью, а нормальнымъ состояніемъ! Принимая его за аллегорический портретъ, мы находимъ въ немъ карикатурное преувеличеніе, какъ въ отраженіи лица человѣческаго на сильно-выпукломъ зеркаль; а разсматривая его какъ дѣйствительное лицо, не находимъ въ немъ ни жизни, ни художественной правды, и следовательно самая мысль свести Рудиныхъ и Владиміровъ на Обломова и вмѣсто внѣшнаго зла указать на нашу собственную несостоятельность — лишена правды и эстетического значенія.

Если въ герояѣ своемъ авторъ хотѣлъ дать урокъ русскому человѣку, то съ другой стороны въ Ольгѣ желалъ показать намъ типъ русской женщины. Въ самомъ-дѣлѣ, въ нашей литературѣ личность охлажденнаго человѣка являлась всегда на ряду съ образомъ женщины: всѣ эти прелестныя лица, отъ Татьяны и княжны Мери до Круци-

ферской и Нины, служили для полного выражения или объяснения этого типа. Всё онъ, встрѣчаясь съ «героями нашего времени», начинали любопытствомъ, отъ него переходили къ участію, потомъ къ любви и страсти, и выходили обыкновенно изъ борьбы съ разбитымъ сердцемъ. Занимаясь характеристикой Онѣгинъхъ и Печоринъхъ, мы какъ-то мало обращали вниманія на эти женскія личности, а между-тѣмъ изученіе ихъ не менѣе любопытно и поучительно. Въ нихъ выразилось состояніе нашего общества, положеніе въ немъ женщины и ея постоянная судьба — дѣлаться игрушкою человѣка, разбитаго жизнью. Посмотрите, съ какимъ любопытствомъ и участіемъ встрѣчаются эти Татьяны, Мери, даже чужія намъ Нины, этихъ Онѣгинъхъ, Владиміровъ, Печоринъхъ, какъ любятъ ихъ и какъ дорого платятъ за свою любовь. Но ихъ участіе и любовь вполнѣ понятны и только украшаютъ, освящаютъ въ глазахъ нашихъ эти прелестныя личности: въ нихъ сердце женщины выказалось сочувствіемъ къ нашему поколѣнію, такъ долго томившемуся подъ суровымъ гнетомъ. Онѣ въ охлажденномъ человѣкѣ, не смотря на замѣтную даже въ немъ театральность, все-таки видѣли достойную участія жертву, подъ его апатіею инстинктивно чувствовали присутствіе живой, но только затаенной силы и видѣли человѣка, способнаго при другихъ условіяхъ къ добру и дѣятельности. Въ лицѣ Онѣгинъхъ и Владиміровъ эти женщины любили и прощали людей, не устоявшихъ въ борьбѣ съ роковой силою. Вотъ отчего, понимая недостатки Онѣгинъхъ и Печоринъхъ, мы симпатизируемъ этимъ женщинамъ, понимаемъ ихъ любовь, сочувствуемъ ихъ несчастіямъ.

Такъ-какъ, для сравненія съ Обломовымъ, мы взяли Владимира, то кстати уже припомнимъ и женщину, съ ко-

торой судьба свела его въ Италии. Хотя личность Нины очерчена у Майкова слабо и неполно, но она истинна и симпатична. Это страстная итальянка, которая живеть и дышеть любовью. Исторія ея страсти—обыкновенная исторія:

Сперва зажглось лишь любопытство въ ней;
 Потомъ ей втайне сдѣлалось приятно
 Жалѣть о другѣ новомъ; непонятно
 Къ нему неслыхъ ея всѣ мысли; онъ,
 Казалось ей, достоинъ лучшей доли—
 А какъ помочь? въ ея ли это волѣ?
 Быть-можеть, онъ озлобленъ, оскорблёнъ,
 И рожденъ она—какъ знать—съ призваньемъ
 Вновь помирить его съ существованьемъ....

Нина готова оставить мать и друзей, промѣнять свою прекрасную родину на снѣжную Россію. На всѣ возраженія Владимира она отвѣчаетъ страстью и говоритъ:

На все готова я,
 На все, на все. Въ тотъ мигъ, когда тебя
 Я встрѣтила, тогда лишь я узнала,
 Что у меня въ груди есть сердце.

И эта любовь, не смотря на нѣсколько-мелодраматическое проявленіе, намъ понятна: мы видимъ, какъ просто и естественно пришла этой пылкой дѣвушкѣ мысль "согрѣть любовью этого чужеземца. Нина встрѣтила въ немъ человѣка, не мертваго душою, а несчастнаго—и ея любовь вполнѣ естественна и возбуждаетъ участіе.

Ольга, какъ и всѣ эти женщины, начинаетъ любопытствомъ при видѣ лица, не похожаго на другихъ известныхъ ей людей. Но предметъ ея любопытства — не человѣкъ, разбитый столкновеніемъ съ жизнью, а сонная, апатическая натура, неловкій и тяжелый байбакъ, проводящій цѣлые дни въ горизонтальномъ положеніи, совершенно довольный жизнью и преданный только Ѣдѣ и лежанью.

Штольцъ, который умѣлъ занимать и смѣшить молодую дѣвушку, привезъ къ ней въ домъ своего друга и сообщилъ о немъ подробности, какія съ первого раза дѣлаютъ человѣка смѣшнымъ въ глазахъ женщины. На этого-то господина, такъ интересно рекомендованнаго, обратила любопытный взглядъ дѣвушки умная и образованная, какъ представляется ее авторъ. И въ любопытствѣ молоденькой дѣвушки, разумѣется, нѣть ничего необыкновеннаго. Отъ этого понятнаго чувства Ольга скоро переходить къ участію, особенно когда Casta diva разогрѣла ея соннаго героя. Штольцъ, уѣзжая за-границу, завѣщаетъ ей Обломова, просить приглядывать за нимъ, не давать лежать на диванѣ, — но и эта новая дружеская рекомендациѣ не вредить Ильѣ Ильичу въ глазахъ доброй Ольги. У нея въ «умненькой, хорошенькой головкѣ» развился уже подобный планъ, какъ она отучить Обломова спать послѣ обѣда, даже лежать на диванѣ, заставить читать книги, писать письма, сѣѣздить въ деревню, за-границу. Она береть на себя роль доктора, мечтаетъ, что возвратить къ жизни человѣка, спасеть нравственно-погибающій умъ и душу. «Она даже вздрагивала отъ гордаго, радостнаго трепета; считала это урокомъ, назначеннымъ свыше». Вотъ что привязываетъ Ольгу къ Обломову. И конечно, всакій допустить возможность такой прихоти со стороны праздной дѣвушки, понимая однakoжъ, что тутъ дѣло идетъ не о призваніи свыше, а просто о самомъ обыкновенномъ кокетствѣ.

Не смотря на то, что натура Обломова выказывается съ первыхъ шаговъ, Ольга сначала изъ угожденія Штольцу, а потомъ уже по собственной волѣ начинаетъ трудиться надъ своей задачею. Мало-по-малу она привыкаетъ къ своей игрѣ, начинаетъ находить въ ней удовольствіе,

потому-что ей открывается будто-бы возможность «хоть надъ кѣмъ-нибудь господствовать».—Роль путеводной звѣзды, говорить авторъ, ей понравилась. «Ольга, какъ всякая женщина въ первенствующей роли, то-есть въ роли мучительницы, конечно менѣе другихъ и безсознательно, но не могла отказать себѣ въ удовольствіи немножко поиграть имъ по-кошачьи». Хотя авторъ и говоритъ, что вся ея тактика была проникнута нѣжной симпатіей, но замашки ея не внушаютъ къ ней самой симпатіи: это не та прелестная любящая женщина, какихъ мы видимъ у Пушкина и Тургенева; это кошка, играющая съ мышью, да еще съ какой мышью! Вотъ отчего Ольга не привлекаетъ насъ, какъ Татьяна, Нина или Круциферская. Впрочемъ, если до-сихъ-поръ личность Ольги и не симпатична, по крайней-мѣрѣ она понятна. Но вотъ, поигравъ съ Обломовымъ по-кошачьи, она не шутя въ него влюбляется. Вовсе не претендую на знаніе женского сердца, съ этой минуты нельзя принимать героиню Гончарова за живую, дѣйствительную личность. Положимъ, дѣвушка и заинтересовалась какъ-нибудь этой сонной и ветхой натурой; но это могло быть развѣ минутной прихотью, капризомъ головы и воображения, а не увлеченіемъ сердца. Возможно-ли, чтобы умная и образованная дѣвушка долго и постоянно могла любить человѣка, который безпрестанно зѣваетъ въ ея присутствіи и даетъ понять на всякому шагу, что для него любовь есть «только тѣжелая служба». Какъ развитая женщина не могла догадаться заранѣе, что изъ такой тряпки никогда ничего не выдетъ, что подъ такой лежачій камень никакая живая вода не потечетъ. Вспомните сцену въ Лѣтнемъ-саду или прѣѣздъ Ольги на квартиру ея любезнаго. Неужели женщина со смысломъ—какъ-бы ни была она ослѣплена любовью — не могла догадаться, что при

всемъ неловкомъ стараніи Обломова прикрыть свой страхъ и трепетъ участіемъ къ любимой особѣ, заботой о неприкосновенности ея доброго имени,—во всякомъ словѣ и движеньіи его проглядывалъ эгоистъ, который робѣеть и тревожится только за одного себя, или лучше сказать, за свой сонъ и апетитъ, и откровенно говорить своей обожательницѣ: «ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страсти и заботы». Хотя Ольга и замѣчаетъ сама, что съ первой минуты знакомства съ Обломовымъ видѣла въ немъ мужа; но ея любовь, въ смыслѣ привязанности долгой и серьозной, дотого невѣроятна, что даже самъ Илья Ильичъ удивляется ей и не можетъ понять, какъ могла полюбить его эта дѣвушка.

«Не ошибка ли это? спрашиваетъ онъ. Что она нашла во мнѣ такого? Экое сокровище далось!» А Штолцъ, когда Ольга призналась ему, что любила Обломова, просто остолбенѣлъ:

— «Обломова! повторилъ онъ въ изумленіи. — Это неправда! прибавилъ потомъ положительно, понизивъ голосъ.

— Правда! покойно сказала она.

— Обломова! повторилъ онъ вновь. — Не можетъ быть! прибавилъ потомъ увѣрительно».

Намъ понятна привязанность къ Обломову вдовы Шеиницыной, которая нашла въ немъ идеаль барина, не занятаго ни службой, ни книжками, умѣющаго цѣнить и ея голые лоести, и умѣніе отлично печь пироги и варить кофе; но возможно-ли, чтобы Ольга начала «стыдиться героя своего романа» только тогда, когда онъ совсѣмъ уже голословно высказался въ своей пошлости и эгоизмѣ! Штолцъ рѣшилъ, что любовь Ольги къ Обломову была «любовь будущая» и даже не любовь, а игра воображенія и самолюбія. Но развѣ натура апатичнаго эгоиста могла такъ долго

обманывать даже самолюбие и воображение? Возможно ли это въ дѣвушкѣ, которая съ первого шага смотрѣла уже на Обломова, какъ на будущаго мужа, которая впослѣдствіи, сдѣлавшись женой Штольца, начала понемногу превращаться къ практическую женщину и синій чулокъ! Чем же это за личность? Неужели мы должны видѣть въ ней аллегорію? Неужели авторъ, желая показать въ своей *обломовщинѣ* русское зло, хотѣлъ выразить въ Ольгѣ призваніе женщины, мечтающей оживить наше общество, разбудить его отъ сна и апатіи, вызвать къ труду и дѣятельности,

И новой мыслью, новой страстью,
Огнемъ, любовью, красотой
Подвинуть міръ въ путяхъ ко счастью
И взволновать его застой?

Неужели онъ хотѣлъ доказать, что отъ невозможности оживить этотъ холодный трупъ, наша женщина обратилась къ живому, дѣятельному западному элементу въ лицѣ русскаго нѣмца Штольца, предоставивъ «хрустальную душу» въ распоряженіе другой родственной души вдовы Пшеницыной? Но такого аллегорического значенія мы не можемъ допустить въ художественномъ произведеніи; а еслибы допустили, то и въ такомъ случаѣ оно теряетъ смыслъ, потому что самъ Обломовъ, какъ мы уже замѣтили, вовсе не типъ русской жизни. Такимъ-образомъ Ольга—или отвлеченная и неумѣстная аллегорическая фигура, или лицо ложное и не симпатичное.

Въ контрастъ съ лѣнивой натурой Обломова Гончаровъ поставилъ дѣятельного, практическаго Штольца. Если въ одномъ онъ хотѣлъ показать образъ нашего барства, неподвижности и нелѣпаго воспитанія, олицетворить нашъ допертовскій элементъ; то въ другомъ думалъ, кажется, написать портретъ представителя нашего вѣка, выразить запад-

ное начало, отъ столкновенія съ которымъ просыпается на мгновеніе наша жизнь, раздвигается покрывающая ее плѣсень. Въ этой личности авторъ выразилъ очевидное желаніе сдѣлать новую попытку — создать вѣчно-неудающейся намъ положительный типъ. Въ какой-же мѣрѣ удалось онъ теперь? Что вышло изъ нѣмецкой натуры, выработанной русской жизнью? Авторъ не безъ цѣли знакомить насъ вполнѣ съ воспитаніемъ Штольца: онъ хочетъ показать, какъ въ противоположность Обломову выработался этотъ мальчикъ, который отъ матери заимствовалъ русское сердце и языки, отъ отца нѣмецкую практическость и акуратность, росъ широко и вольно, бѣгалъ гдѣ хотѣлъ, на цѣлые дни уходилъ изъ дома, возвращался изорванный, выпачканный, съ разбитымъ носомъ. Можетъ-быть такое дѣтство и лучше обломовскаго; но опять замѣтимъ, что если дурное воспитаніе не можетъ вполнѣ убить натуры свѣжей, то съ другой стороны и воспитаніе здоровое не можетъ дать человѣку того, въ чемъ онъ обойденъ отъ природы. Мы видимъ, правда, что изъ Штольца не вышло, какъ замѣчаетъ авторъ, ни бурша, ни филистера, но зато развился тотъ практически-холодный человѣкъ, какими въ самомъ дѣлѣ дарило насъ послѣднее время, благодаря можетъ-быть тому-же вѣшнему гнету, заглушавшему въ душѣ все теплое и поэтическое. Штольцъ — близкая родня Калиновичу: у него та-же дѣятельность, та-же забота о собственной карьерѣ, безъ всякой любви къ своей полуродинѣ, безъ всякой горячей, дѣйствительной мысли сдѣлать что-нибудь для ея блага. Нетолько въ жизни, но и въ домашней обстановкѣ этотъ человѣкъ отталкиваетъ еще больше, чѣмъ его сонный пріятель. У Обломова комнаты никогда не метутся, на стулья нельзя присѣсть отъ пыли, на столѣ стоитъ неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка, и листы

въ книгахъ онъ разрѣзываетъ пальцемъ. Штольцъ, не смотря на то, что русская жизнь «изъ беззвѣтной таблицы сдѣлала ему яркую, широкую картину», ищетъ во всемъ педантическаго порядка и формальности, любить, чтобы бумаги, карандаши, всѣ мелочи такъ и лежали на столѣ, какъ онъ ихъ положитъ. Въ нравственномъ отношеніи — онъ эгоистъ еще больше сухой и антипатичный. Обломовъ тяготится любовью, потому-что она мѣшаетъ ему лежать на диванѣ, заставляетъ каждый день одѣваться и не даетъ во время пообѣдать; Штольцъ при встрѣчахъ съ женщиными старается избѣгать всякихъ волненій и тревогъ любви, заботясь сохранить свой «здравый организмъ». Неужели-же въ этомъ Штольцѣ должны мы признать свѣжую натуру, идеаль, къ которому стремится русская жизнь? Неужели это образецъ лучшей части нашего молодаго поколѣнія, представитель нашего будущаго общества? Если-бы намъ предстояло сдѣлать выборъ между Обломовымъ и Штольцемъ, то не смотря на жалкую апатію соннаго тюфяка, мы скорѣе остановились-бы на немъ, чѣмъ на этой холодно-приличной, отталкивающей личности, которая вѣчно резонируетъ и съ высоты какого-то пуританскаго величія смотритъ на русскую жизнь. Въ этой антипатичной натурѣ, подъ маскою образованія и гуманности, стремленія къ реформамъ и прогрессу, скрывается все, что такъ противно нашему русскому характеру и взгляду на жизнь. Въ этихъ-то «штольцахъ» и таились основы гнета, который такъ тяжело налегъ на наше общество. Изъ этихъ-то господъ выходятъ тѣ черствые дѣльцы, которые, добиваясь выгодной карьеры, давятъ все, что ни попадется на пути, предводители марширующей и пишущей фаланги, готовые ранжировать людей, какъ вещи на своемъ письменномъ столѣ, — сухие бюрократы, преслѣдователи мелкихъ взяточ-

никовъ и угодники крупныхъ, враги всего, не подходящаго въ нѣмецкой чинности, готовые придавать все живое, во имя своей дисциплины. Изъ этихъ полурусскихъ «штолцевъ» выражаются всѣ учредители мнимо-благодѣтельныхъ предпріятій, эксплуатирующіе работника на фабрикѣ, акціонера въ компаніи, при громкихъ возгласахъ о движеніи и прогрессѣ, всѣ великудущіе эманципаторы крестьянъ безъ земли, съ жаромъ проповѣдующіе объ освобожденіи личности изъ - подъ вліянія ненавистной и дикой русской общины. Изъ этой-то толпы людей,ничѣмъ кровнымъ не привязанныхъ въ родинѣ, толкующихъ о святости законовъ и готовыхъ произвольно попирать ихъ при удобномъ случаѣ, выплываютъ всѣ эти мелкіе деспоты, которые, вмѣсто законнаго пути, все рѣшаютъ прихотью и связями, какъ распорядился и нацъ Штолцъ съ Мухояровымъ. Этотъ-то типъ, мѣняясь какъ хамелеонъ съ ходомъ самаго времени, породилъ у насъ тѣхъ положительныхъ людей, которыми недавно еще литература какъ-будто сочувствовала въ лицахъ Петровъ Ивановичъ Адуевыхъ, Паншиныхъ, Калиновичей, которые во всемъ и прежде всого ищутъ выгодъ и не видятъ никакой поэзіи въ жизни, если въ ней нѣть ничего практическі-полезнаго. Смѣшны были сантиментальные юноши, которые жили одними вздохами и нѣжностями, любовались луной и цвѣтами и вѣлялись, что съ милой соломенна хижина милѣе царскихъ чертоговъ; но если не смѣшне, то несравненно противнѣе эта положительная молодежь, которая, отказанавшись отъ сладенькой чувствительности, ударила въ черствую практичность, поклоняется только мѣшку съ золотомъ и благоговѣеть предъ поэзіей акцій и дивидендовъ. Если одни никогда не смотрѣли подъ ноги и оттого вѣчно падали, за-то другіе никогда не отводятъ глазъ отъ дорожной грязи и знать не

хотя́ть, что дѣлается выше. Литература, осмы́ивая безпред-
метный идеализмъ, дѣлала конечно хорошо, потому-
что хотѣла отучить отъ бесплодныхъ вздоховъ и заставить
чѣмъ-нибудь заниматься; но съ другой стороны едва ли не
больше принесла она зла, идеализируя этотъ холодный типъ
практическихъ эгоистовъ. Всѣ эти Калиновичи и К° такъ
заняты устройствомъ своей карьеры, что общему благу
ничѣмъ не жертвуютъ, кромѣ однѣхъ фразъ, а если и рѣ-
шатся играть дѣятельно-благородную роль, то развѣ только
изъ желанія еще больше выказаться въ модномъ положе-
ніи. Сегодня они кричатъ противъ взяточниковъ и гонять
злоупотребленія оттого, что это нетолько безопасно для
нихъ, но можетъ быть даже и полезно; а подуй другой
вѣтеръ — и завтра они будутъ гонителями образованія и
гасителями мысли и очень умно будутъ говорить о не-
обходимости подчиниться обстоятельствамъ. Никогда эти
«штолльцы» не выдуть впередъ, если общество потребуетъ
какой-нибудь существенной жертвы, какого-нибудь дѣйстви-
тельно-гуманнаго подвига, развѣ при этомъ явится возмож-
ность ожидать впереди за жертву воздаянія сторицею. Не-
ужели же въ самомъ дѣлѣ въ Штолльцѣ олицетворена бла-
городная личность нашего времени, здоровый организмъ
нашей эпохи! Нѣть! отвергая смыслъ жалкой и карика-
турной обломовщины, мы еще больше не признаемъ идеаль-
наго значенія этой холодной штолльцовщины.

Но мы не въ первый разъ уже встрѣчаемъ у Гонча-
рова искусственное сближеніе идеализма и положительности.
Въ герояхъ его романа съ первого взгляда можно уз-
нать старыхъ знакомыхъ: это Александръ Федоровичъ и
Петръ Ивановичъ Адуевы, нѣсколько переодѣтые и иначе
обстановленные. Они даже и перемѣнились не много. Вспом-
ните наружность Петра Ивановича и Штолльца: педаромъ

авторъ сравниваетъ одного съ центавромъ, а другаго съ кровной англійской лошадью. Въ лицѣ одного не выражается ни добродушія, ни злости, ни великаго ума и еще меньше глупости, а одно только холодное спокойствіе, и онъ никогда не поддается ни хорошему, ни дурному впечатлѣнію. Другой «живетъ по бюджету, стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда не дремлющимъ контролемъ издержанного времени, труда, силь души и сердца. Кажется, и печалями и радостями онъ управляетъ, какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ, или какъ обращается съ дурной и хорошей погодой». Вспомните дѣятельность Адуева-яди, его хлопоты съ заводомъ и компаниями, его понятія о женитьбѣ и семейномъ счастіи, планы на устройство домашней жизни, его разговоры съ племянникомъ,— и взгляните на Штольца, который точно такъ-же въ постоянномъ движеніи, служить и покупаетъ дома, участвуетъ въ промышленныхъ компанияхъ, ъздитъ по дѣламъ за-границу, пишетъ и приводить въ исполненіе проекты и тормошить своего облѣнившагося товарища. Очевидно, что это любимый типъ Гончарова, который создавался многолѣтней думой: въ образѣ Штольца онъ явился съ тою-же самой физіономіей, съ тѣмъ-же духомъ и идеей, но выработался съ большей ясностью и оконченностью.

Въ Обломовѣ, не смотря на особенность его натуры, замѣтно также нѣкоторое сходство съ Александромъ Федоровичемъ Адуевымъ. Оба они одинаково дурно воспитаны въ деревнѣ, избалованы барствомъ, испорчены съ первыхъ впечатлѣній,— и оба, пройдя черезъ университетъ, на первомъ шагу неловко поскользнулись на жизненномъ пути. Авторъ до того сходно вѣль ихъ, что нарочно кажется хотѣлъ показать, какъ, при одинакомъ воспитаніи, различ-

ная натуры, поставленная въ одно и то-же положеніе, могутъ разойтиться въ жизни. Адуевъ и Обломовъ пріѣзжаютъ въ Петербургъ дѣлать карьеру, поступаютъ на службу съ мечтою объ общественной пользѣ, даже служатъ какъ-будто въ одномъ департаментѣ, — и оба, споткнувшись, падаютъ съ первой ступени. У каждого изъ этихъ непрактическихъ телемаковъ есть свой менторъ: одного дядя старается отклонить отъ безпредметной идеализациіи къ дѣйствительной жизни, другаго Штолльцъ пытается притянуть отъ апатіи къ какой-нибудь дѣятельности. Въ самой любви ихъ, которая у того и другаго завязывается лѣтомъ на дачѣ, въ окрестностяхъ Петербурга, много общаго. Изъ столкновенія съ этой любовью оба они выходятъ одинаково и впослѣдствіи только расходятся, по различію своей натуры: Адуевъ лечится новой любовью, потомъ переходитъ къ апатическому охлажденію, ловитъ рыбу съ Костяковымъ и лежитъ по цѣлымъ днямъ на диванѣ; Обломовъ прямо и окончательно возвращается къ дивану, какъ къ своему нормальному быту. Адуевъ начипаетъ избѣгать дяди, Обломовъ не радъ посѣщеніямъ Штолльца,— и оба, въ обществѣ Костякова и Евсея, Аграфены Матвѣевны и Захара, обращаются къ животной жизни. Въ положеніяхъ ихъ столько общаго, что авторъ какъ-будто нарочно хотѣлъ двумя разными пріемами решить одну и ту-же задачу. Но выводы, разумѣется, вышли различные. Казалось, Обломовъ при сближеніи съ Ольгой готовъ покинуть диванъ и отказаться отъ халата; но ветхая натура опять потянула его къциальному состоянію, и онъ кончилъ женитьбой на глупой чиновницѣ и апоплексическимъ ударомъ. Казалось, Адуевъ, послѣ двухъ тяжелыхъ столкновеній съ жизнью, переселился на Пески и впослѣдствіи въ деревню, кончить диваномъ и халатомъ; но его характеръ, въ которомъ таились съмена практич-

ности, вызвалъ его опять къ жизни, и изъ него вышелъ не Обломовъ, а Петръ Иванычъ или, пожалуй, Штолыцъ. И вотъ гдѣ доказательство, что лѣнъ и апатія Обломова — слѣдствіе не воспитанія, а самой его натуры.

Итакъ герои «Обыкновенной Исторіи» явились и въ другомъ романѣ Гончарова, только въ новомъ превращеніи. Адуевъ-дядя еще больше погрязъ въ дѣловой суетѣ, принялъ вѣмецкую физіономію, выродился въ Штолыца, съ явнымъ намѣреніемъ помирить нась съ своимъ эгоизмомъ и показать, что судьба женщины не всегда кончается съ нимъ безвыходнымъ положеніемъ Лизаветы Александровны, а иногда и счастіемъ Ольги Сергѣевны. Адуевъ-племянникъ, ради большей сатиры на наше воспитаніе, переродился въ Обломова, съ покушеніемъ быть представителемъ русской лѣни и выразить ее въ крайнихъ послѣдствіяхъ. Но если мы и прежде не сочувствовали дядѣ и племяннику, то по-крайней-мѣрѣ видѣли въ нихъ дѣйствительныхъ людей; а теперь — въ образахъ Штолыца и Обломова они являются въ преувеличенномъ видѣ и становятся не живыми типами, а карикатурой на русскую жизнь.

Съ какою-же цѣлью знакомые намъ Адуевы явились въ новомъ романѣ? чѣмъ именно хотѣлъ сказать ими авторъ? Если въ поэтическомъ произведеніи, вместо живой художественно-воплощенной идеи, мы согласились допустить отвлеченную аллегорію, которая придумана заранѣе и потомъ уже обставлена лицами и происшествіями, то можно было подумать, что Гончаровъ въ новомъ романѣ своемъ хотѣлъ показать намъ старую Русь и ея отношеніе къ европейской цивилизациі. Эта далекая, темная Обломовка, съ своими патріархальными обитателями, заброшенная бариномъ, разоренная Тарантьевыми, Мухояровыми и Затерты-

ми, потомъ приведенная въ порядокъ Штольцами, служила бы аллегорическимъ представлениемъ Россіи. Понимая подъ Обломовымъ старый порядокъ дѣлъ, мы могли бы объяснить смыслъ его тяжелой натуры, его эгоистически-льни-
вый характеръ, прозябанье въ лѣни и апатіи, отъ которыхъ не въ состояніи были разбудить его ни любовь, ни дружба, ни наука, ни теплое дыханіе жизни. Въ такомъ случаѣ мы готовы были-бы допустить, что Обломовъ олицетворяетъ отчасти до-петровскую Русь и столкновеніе ея съ европейскимъ элементомъ; тогда и самыи представитель этого элемента Штольцъ получилъ бы въ нашихъ глазахъ нѣкоторое значеніе. Тутъ сдѣлалась-бы понятна и роль Ольги, и ея планъ разбудить соннаго Обломова, и попытки Штольца вдохнуть жизнь и дѣятельность въ вялый организмъ, и его послѣднія слова: «Прощай, старая Обломовка! ты отжила свой вѣкъ!» Тогда въ самомъ маленькомъ Андрюшѣ мы видѣли-бы можетъ-быть намекъ на молодое поколѣніе, которое должно воспитаться подъ иными условіями жизни. Но въ такомъ случаѣ романъ изъ художественнаго созданія превратился бы въ отвлеченный, дидактическій трактать. Мы давно пережили время, когда идея изящнаго произведенія въ нашей литературѣ болѣе или менѣе смѣшивалась съ аллегоріей. Теперь всѣ понимаютъ, что идея воплощается въ создаваемымъ художникомъ лица, не лишая ихъ жизни, плоти и крови; аллегорія-же только облекаетъ заранѣе взятыя понятія въ соотвѣтственные имъ образы, имена и костюмы. Въ романѣ мы ищемъ живыхъ лицъ, портретовъ, списанныхъ съ дѣйствительной жизни. Чичиковы и городничіе, Бульбы и художники Чартковы, дамы «пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ» и «просто пріятныя», выражая своими характерами и жизнью какую-нибудь идею, въ то-же время являются намъ живыми ти-

пами, съ плотью и кровью. Въ главныхъ-же лицахъ Гончарова мы не находимъ дѣйствительной жизни, а видимъ или аллегорическія фигуры, придуманныя для изображенія старой Руси, нѣмецкаго элемента, роли женщины въ нашемъ развитіи, или характеры исключительные и даже карикатурные. Но если-бы въ основаніи романа вмѣсто аллегоріи и лежала идея, то и въ такомъ случаѣ она не затрогивала-бы нашей современной жизни и высказывала-бы слово вовсе не новое. Давно уже разные «штолыцы» твердятъ, что русскій человѣкъ спитъ непробуднымъ сномъ и не способенъ ни къ какому серьезному труду; давно привыкли мы видѣть, какъ сваливаются извѣтъ привитую намъ апатію на самую природу и характеръ нашего народа. Не въ первый разъ придется намъ слышать, что «безпечность есть стихія русскаго человѣка, и онъ не находитъ для себя ничего лучшаго, кроме покоя и недѣятельности». Но кто во всемъ нашемъ современномъ обществѣ видить одну только «обломовщину», тому мы укажемъ на Петра, Ломоносова, Дашкову, Пушкина,—и они отвѣтятъ за насъ, что если и было что-нибудь общее между «обломовщиной» и старой Русью, то теперь преобладающіе элементы въ новой жизни нашей вовсе не напоминаютъ уже ни безпробудной апатіи Обломова, ни безпредметной и холодной дѣятельности его пресловутаго друга.

Въ заключеніе обратимся къ художественной сторонѣ романа Гончарова. Разсматривая это произведеніе, помимо его идеи и главныхъ лицъ, мы должны прямо сказать, что оно отличается высокими красотами. Конечно, въ планѣ романа есть также недостатки, вредящіе полнотѣ цѣлаго. Такъ напримѣръ, вся первая часть по отсутствію дѣйствія кажется лишнею: на двухъ-стахъ страницахъ мы читаемъ только, какъ Обломовъ лежитъ на диванѣ, потомъ спитъ

и видить сонъ, то-есть свое дѣтство и воспитаніе, а въ промежуткѣ этого лежанья и сна являются пять лицъ, изъ которыхъ большая половина потомъ вовсе не показывается. При этомъ мы узнаемъ, конечно, характеръ главнаго героя, знакомимся съ его личностью и жизнью, но характеръ и жизнь лица, по условіямъ искусства, должны развиваться въ дѣйствіи, а не въ однообразныхъ положеніяхъ и монотонномъ разсказѣ. Положимъ, что въ визитахъ Волкова, Пѣнкина, Судбинскаго передъ нами ярко выступаетъ личность Обломова, отчетливо обрисовываются разныя стороны его натуры, но все-же отъ этого романъ, въ которомъ ненужныя лица введены только для обрисовки главнаго, теряетъ со стороны стройности плана и занимательности. Намъ скажутъ: какого-же вы хотите разнообразія въ монотонной жизни этого мѣшка, какого требуете дѣйствія тамъ, где дѣло идетъ о человѣкѣ, у которого лежанье на диванѣ было нормальнымъ состояніемъ? Замѣчаніе справедливое, но тѣмъ не менѣе романъ, при отсутствіи дѣйствія, проигрываетъ въ художественномъ отношеніи. Монотонность первой части становится еще замѣтнѣе отъ частыхъ повтореній въ мелкихъ подробностяхъ. Этотъ стукъ безпрестанно спрыгивающихъ съ лежанки ногъ Захара, одно и то-же обращеніе самого Обломова къ приходящимъ гостямъ:—«не подходи, не подходи—ты съ холоду»—хотя и гармонируютъ съ общей обстановкой сцены и характеромъ героя, но при слишкомъ частомъ повтореніи надоѣдаются читателю. Вотъ отчего романъ Гончарова кажется нѣсколько растянутымъ и скучнымъ.

За исключеніемъ этого недостатка, въ художественной сторонѣ романа видѣнъ мастеръ, котораго можно поставить наряду съ Гоголемъ. Описанія Гончарова отличаются необыкновенной вѣрностью рисунка и поразитель-

ной живостью красокъ: природа поражаетъ у него тою-же отчетливостью формъ, какъ въ лучшихъ картинахъ Тургенева, и сверхъ того въ его колоритѣ есть что-то мягкое и теплое. Точно также сцены петербургскаго, особенно холостаго быта очерчены съ удивительной правдой и полною. Вспомните комнату Обломова въ Гороховой-улицѣ или его квартиру на Выборгской-сторонѣ: здѣсь всякая черта подмѣчена необыкновенно тонко и полна смысла. Вообще романъ богатъ превосходными частностями и мастерскими отдѣльными сценами. Лучшее мѣсто въ немъ, по нашему мнѣнію — сонъ Обломова, и особенно первая его половина, гдѣ авторъ съ удивительной вѣрностью и въ самыхъ живыхъ краскахъ рисуетъ картину темнаго провинциального быта, ничѣмъ не уступающую лучшимъ эпизодамъ «Мертвыхъ Душъ». Второстепенные лица Гончарова, какъ и въ прежнемъ его романѣ, далеко превосходятъ главныя, не смотря на то, что обрисованы иногда несличкомъ полно. Какъ хороша въ «Обыкновенной Исторіи» мать Адуева, такъ-же художественно прекрасна и его Агафья Матвѣевна — одинъ изъ самыхъ совершенныхъ типовъ въ нашей литературѣ. Даже лица, слегка только набросанныя какъ-бы нѣсколькими взмахами карандаша, выходятъ у автора живы и характерны: такова въ прежнемъ романѣ Аграфена, такова и здѣсь Анисья. Вообще въ женскихъ лицахъ мелкаго помѣщичьяго или дворового быта онъ не имѣеть у насъ соперниковъ: это уже не карикатуры, а полные типы, живые портреты или только бойкіе эскизы, но безъ малѣйшей фальшивой черты или преувеличенного штриха. Наконецъ нельзя не замѣтить комизма Гончарова, который заставляетъ подозрѣвать въ немъ признаки спечического дарованія. Вспомните, напримѣръ, бесѣду Обломова съ докторомъ, когда угрожая близкимъ ударомъ

отъ сидячей жизни, онъ чертитъ ему планъ поѣздки за-
границу и программу будущаго леченья. Сколько тутъ ве-
селости и комизма! Но это не комизмъ Гоголя, оставляю-
щій послѣ себя болѣзненное чувство негодованія и желчи,
а комизмъ полный добродушія и граціозной мягкости. Та-
кимъ-образомъ, не признавая въ «Обломовѣ» современного
типа, ни живой общественной идеи, должно однако же
сказать, что сочиненіе это по художественнымъ достоин-
ствамъ принадлежитъ къ капитальнымъ явленіямъ нашей
литературы.

СОВРЕМЕННАЯ
ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА.

(Несколько словъ о „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголя).

~~~~~

У насъ многіе недоумѣваютъ, почему Гоголь назвалъ «Мертвыя Души»—поэмой. Что это: капризъ, умыселъ или шутка? Толковъ объ этомъ было не мало и въ обществѣ, и въ журналистикѣ—и вопросъ остался нерѣшеннымъ; одни видѣли въ этомъ желаніе надменнаго самолюбіемъ автора поставить себя на-ряду съ Гомеромъ, другіе думали, что онъ хотѣлъ только насмѣяться надъ классическимъ эпосомъ. Но почему-же, въ-самомъ-дѣлѣ, «Мертвыя Души» не назвать поэмой! Извѣстно, что всѣ теоретики, начиная съ Аристотеля и до Лагарпа, подъ именемъ героической поэмы разумѣли обширное эпическое сочиненіе, обильное чудесными событиями, гдѣ герой, одаренный могучимъ характеромъ, стремясь къ какой-нибудь высокой цѣли, является въ борьбѣ съ людьми или судбою. Вспомните-же содержаніе «Мертвыхъ Душъ»,—и вы согласитесь, что похожденія Павла Ивановича Чичикова нисколько не уступ-

паютъ подвигамъ какого-нибудь Ахилла или Готфреда и вполнѣ удовлетворяютъ законамъ пітии.

Чичиковъ, какъ истинный герой поэмы, одушевленъ высокой цѣлью: онъ задаетъ себѣ задачу нажить состояніе. Какая современная и въ то-же время вѣчная мысль! Нажить деньги, обогатиться—да это мечта всѣхъ временъ и народовъ, это пѣсня вѣчно-юная, какъ Иліада! Но вѣдь въ поэмѣ, кромѣ элемента общечеловѣческаго, долженъ быть и элементъ національный. Гомеръ тѣмъ и великъ, что его герои люди и въ то-же время греки, а Вольтеръ оттого именно и не поэтъ, что лица его—если немножко и люди, то ужъ никакъ не французы. Посмотрите-же, какъ вся повѣсть Гоголя вѣеть пароднымъ духомъ!

Чичиковъ задумываетъ обогатиться — и идеть къ этой цѣли путемъ совершенно національнымъ. Онъ опредѣляется на службу въ комиссію построенія накого-то капитальнаго казеннаго зданія, шесть лѣтъ дѣятельно участвуетъ въ ея трудахъ,—и цѣль становится уже близкою. У Павла Ивановича, какъ и у другихъ атридовъ строительной комиссіи, является собственный домъ; онъ уже «покупаетъ сукна, какого не носила цѣлая губернія, пріобрѣтаетъ отличную пару и самъ держитъ одну возжду, заставляя пристяжную виться кольцомъ».

Но вотъ завязывается первый узелъ поэмы, первая борьба героя съ препятствіями и судбою. На мѣсто прежніго тюфяка-начальника, на все смотрѣвшаго сквозь пальцы, присланъ въ комиссію новый, человѣкъ прямой и строгій, врагъ взяточниковъ и неправды. Онъ требуетъ отчеты, находить недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы,—и благопріобрѣтенные дома отбираются въ казну, а Чичикова выгоняютъ изъ службы. Обыкновенная повѣсть на этомъ-бы и кончилась, но здѣсь это только узелъ поэмы.

Дюжинный человѣкъ послѣ такой катастрофы потерялся-  
бы и заглохъ съ какими-нибудь грошами въ провинціаль-  
номъ болотѣ; но Чичиковъ, какъ герой поэмы, не падаетъ  
подъ ударомъ судьбы, а возстаетъ съ новыми силами.

Стремясь неуклонно къ своей доблестной цѣли, Павель Ивановичъ составляетъ новый планъ, смѣлѣе и обдуманнѣе прежняго. Онъ поступаетъ на службу въ таможню и дѣлается неподкупнымъ чиновникомъ, бичемъ контрабандистовъ. Ревность и бдительность его становится извѣстною начальству, онъ получаетъ повышеніе, ему даютъ команду для преслѣдованія контрабанды,—и вотъ онъ опять выплы-  
ваетъ на своеемъ челнѣ къ обогащенію. Прочно утвердясь на тепломъ мѣстѣ, онъ самъ подаетъ руку контрабандистамъ: брабантскія кружева проходять въ огромномъ ко-  
личествѣ черезъ границу подъ шкурами бараповъ,—и у нашего героя слова полмилліона капитала. Цѣль, кажется, достигнута! Но вотъ новый ударъ судьбы. Какъ герои Гомера поссорились за лѣпокудрую дочь жреца аполлонова, такъ и Чичиковъ побрапился съ сотрудникомъ по дѣлу брабант-  
скихъ кружевъ «за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую,  
какъ ядреная рѣпа», и обругали другъ-друга поповицами. Товарищъ подаетъ на него тайный доносъ,—и Троя спо-  
ускается: нажитое съ такимъ умомъ достояніе конфис-  
куютъ, и самъ Павель Ивановичъ едва успѣваетъ увер-  
нуться отъ уголовнаго суда. Кто при такомъ страшномъ  
ударѣ не потерялъ бы энергіи и не отказался отъ труд-  
наго подвига? Но здѣсь-то и раскрывается вся эпическая  
мощь героического характера, котораго желѣзная сила не  
слабѣетъ, а только закаляется въ борьбѣ съ препятствіями.

Дѣятельность не умираетъ въ головѣ Чичикова. Закла-  
дывая, въ качествѣ повѣреннаго, чье-то имѣніе въ Опе-  
кунскій-совѣтъ, онъ узнаетъ, что «по существующимъ по-

ложењіямъ нашего государства, въ славѣ которому нѣтъ равнаго, ревизскія души, окончивши жизненное поприще, числится однакожъ, до подачи новой ревизской сказки, наравнявъ съ живыми», и принимаются въ залоги. Нашего героя осѣнаетъ въ дохновенійшай мысль, какая только приходила въ человѣческую голову. «Эхъ я Акимъ-простота, сказалъ онъ самъ себѣ, ищу рукавицъ, а обѣ за поясомъ! Да пакути я всѣхъ этихъ, которые вымерли, пока еще не подавали новыхъ ревизскихъ сказокъ, пріобрѣти ихъ, положимъ, тысячу, да положимъ, Олекунпскій-совѣтъ дастъ по двѣсти рублей на душу: вотъ ужъ двѣсти тысячъ капиталу!» Въ какой героической поэмѣ найдете вы такую колоссальную мысль! Перекрестясь, Чичиковъ приступаетъ къ исполненію своего великаго плана,—и вотъ развертывается передъ нами эпической разсказъ, обширный, стройный и величавый. Какъ герои Гомера, возстаютъ передъ нами русскіе люди на разныхъ ступеняхъ общества, въ различныхъ проявленіяхъ своей жизни и дѣятельности. Къ сожалѣнію, поэма не кончена, и мы не знаемъ, чѣмъ разрѣшилась — бы судьба ея героя: гибнетъ ли онъ подъ ударами рока, или подобно многострадальному Одиссею возвращается наконецъ въ своей Итакѣ и дѣлается отцомъ семейства и уважаемымъ помѣщикомъ.

Вотъ общій планъ сочиненія. Посмотрите же теперь на частности: развѣ въ нихъ нѣть всѣхъ условій героической поэмы? Второстепенные лица, группируясь вокругъ главнаго героя, служатъ достойной средою, въ которой развертывается его великій характеръ. Неужели Чичиковъ окружень хуже, чѣмъ Агамемнонъ? Отчего Маниловъ, Плюшкинъ и Ноздревъ неприличнѣе Патрокла, Улисса или Тересита? Дамы губернскаго города, куда судьба приводить Чичикова, не уступаютъ нетолько смертнымъ, но даже и

бесмертнымъ красавицамъ Гомера. И на Олимпѣ не поднималось такой бури за Париса или Гектора, какая поднялась здѣсь за Павла Ивановича, когда узнали, что онъ миллионщикъ. Никогда Диона не придумывала такихъ хитростей для привлеченія въ свои сѣти Энея, какъ губернскія барыни для обольщенія Чичикова; никогда Афродита и лилейнораменая Гера не кололи другъ-друга такими булавками, какъ «просто-пріятная дама» и «дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ».

Пиры въ поэмѣ Гоголя несравненно величественнѣе, чѣмъ у Гомера. Ни въ Иліадѣ, ни въ Одиссеѣ нѣть такого роскошнаго празднства, какъ пиръ у полицмейстера, «отца и благодѣтеля города», откуда Чичиковъ пріѣхалъ домой въ такомъ видѣ, что лакей, снимая съ него сапоги, чуть не стащилъ съ ними на полъ и самого барина. Если Аяксъ съѣдаетъ на пирѣ цѣлый «хребетъ вола», то неужели менѣе замѣчательенъ подвигъ Собакевича, который такъ распорядился съ полицмейстерскимъ осетромъ, что оставилъ отъ него одинъ хвостъ? Въ «Мертвыхъ Душахъ» нѣть, конечно, такихъ частыхъ битвъ, какъ въ Иліадѣ или Освобожденномъ Іерусалимѣ; но чего стоитъ одно побоище, которое готово было разыграться въ домѣ Ноздрева, когда хозяинъ, вооруженный черешневымъ чубукомъ, напалъ на Чичикова съ своими мирилонами,— и благородному герою пришлось бы очень плохо, еслибы къ нему не подоспѣла небесная помощь въ образѣ капитанъ-исправника, какъ нѣкогда Аполлонъ сребролукій или Аѳина-Паллада къ своимъ ахеянамъ.

Всѣ эпические поэты, съ Гомера до Хераскова, любили описывать бури и кораблекрушенія. Съ первого взгляда подумаешь, что ничего подобнаго не можетъ быть у Гоголя. Но развѣ описание проливного дождя, который встрѣ-

тиль Чичикова на пути отъ Манилова, и крушеніе брички отъ неосторожности афтомедона Селифана — уступаютъ сколько-нибудь кораблекрушеніямъ и бурямъ въ классическихъ поэмахъ? Напротивъ, крушеніе экипажа на русской проселочной дорогѣ гораздо вѣроятнѣе и опаснѣе, чѣмъ гибель кораблей на какомъ-нибудь южномъ морѣ. Хорошо было Одиссею попасть въ голубыя, прозрачныя волны; но каково же пришлось Павлу Иванычу, когда, при паденіи брички, онъ и руками и ногами шлепнулся въ грязь! Вѣдь сыну лаэртову нимфа даетъ покрываю, съ которымъ онъ преспокойно доплываетъ къ берегу и находитъ пріютъ у царицы Ареты; а Чичиковъ въ такомъ видѣ является къ гостепріимной Коробочкѣ, что помѣщица, увидя перепачканного гостя, невольно вскрикнула: «Эхъ, отецъ мой, да у тебя-то, какъ у борова, вся спина и бока въ грязи! гдѣ такъ изволилъ засалиться?»

Не менѣе бурь древніе и новые эпики любили описывать адъ и тѣни почившихъ. Сколько картинъ замогильной жизни видѣли мы въ поэзіи, начиная съ Данта до Байрона, начертавшаго послѣдній эпизодъ этого рода въ свою Кайнъ? Если въ «Мертвыхъ Душахъ» нѣть фантастического описанія ада, зато существо Чичикова въ Гражданскую-палату, для заключенія узаконенныхъ актовъ о покупкѣ мертвыхъ душъ, отличается не менѣе поразительными образами, яркими красками и мрачной дѣйствительностью. Жрецъ Темиды, который дѣлается путеводителемъ смѣлаго героя черезъ трудные переходы до залы присутствія, по словамъ самого Гоголя, напоминаетъ дантова Виргилія. А этотъ предсѣдатель, подобно Зевсу-громовержцу, продляющій и ускоряющій по своему желанію присутствіе, эти наклонившіяся падь бумагами головы и скрипъ перьевъ, походившій на проѣздъ телегъ по лѣсу, завален-

ному изсохшими листьями, наконецъ эти таинственные мертвые души, ради которыхъ Чичиковъ является въ палату,— все напоминаетъ сопственное существование древнихъ героевъ въ мрачные предыдьбы классического Стика.

Наконецъ въ героической поэмѣ, по условіямъ теоріи, должно быть чудесное: таково въ Энеидѣ вмѣшательство Эола и Юноны въ судьбу сына анхизова, а въ Иліадѣ участіе боговъ Олимпа во всѣхъ битвахъ и событияхъ подъ стѣнами Трои. И это мы находимъ въ нашей отечественной эпопѣ. Что можетъ быть чудеснѣе этихъ мертвыхъ душъ, которыхъ «окончили въ нѣкоторомъ родѣ свое земное существованіе», а между-тѣмъ невидимо присутствуютъ передъ вами во всей повѣсти и служатъ главнымъ основаніемъ подвиговъ героя, важнѣйшимъ средствомъ его къ достижению высокой цѣли обогащенія? И кому не покажется сверхъ-естественнѣмъ, что души крестьянъ, давно уже совершившихъ свое жизненное поприще, существуютъ еще за стиковой гранью Гражданской-палаты; незримо живутъ въ грудахъ бумагъ и ревизскихъ сказокъ, таинственно прикованы еще къ землѣ и не смѣютъ вкусить успокоенія въ Елисейскихъ-поляхъ, пока не прозвучитъ труба новой ревизіи и не освободитъ ихъ отъ невидимаго заключенія въ судебныхъ вертепахъ! Кто не увидитъ чудеснаго въ томъ, что эти мертвые души продолжаютъ еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметомъ сдѣлокъ и процесовъ, средствомъ обогащенія и спекуляціи, и даже вводятъ въ сомнѣніе Коробочку—не годятся ли онѣ еще на что-нибудь и въ домашнемъ хозяйствѣ! Все это въ высшей степени чудесно, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительно и вполнѣ естественно,— выгода, какой не имѣлъ решительно ни одинъ изъ древнихъ эпическихъ поэтовъ.

Мы могли бы сказать, что самые подробности въ сочиненіи Гоголя отличаются характеромъ эпическихъ, что напримѣръ эпизодъ о капитанѣ Копѣйкинѣ не уступаетъ ни одному изъ эпизодовъ классическихъ поэмъ, а описание бритвенной шкатулки Чичикова даже превосходитъ знаменитое изображеніе щита ахиллова; но это увлекло бы насъ далеко за предѣлы нашего краткаго очерка. Изъ сказаннаго уже нами легко можно видѣть, что планъ этой современной поэмы, характеръ и дѣятельность героя, чудесная сторона разсказа и, даже подробности,—все оправдываетъ тѣхъ почитателей Гоголя, которые въ жару своего энтузиазма къ автору «Мертвыхъ Душъ» величали его «rossiйскимъ Гомеромъ».

## ПЕТРОВСКІЙ ПЕРЕВОРОТЪ.

(Исторія Петра Великаго Н. Устрялова).

~~~~~

Les époques ont leurs sacrifices
et victimes.

A. Lamartine.

Появленіе въ печати шестаго тома историческаго труда Устрялова возбудило общее любопытство во всѣхъ, кого только интересуетъ наша отечественная исторія. Въ этомъ томѣ помѣщено знаменитое дѣло царевича Алексія Петровича, бывшее до-сихъ-поръ для публики нашей какою-то тайной, о которой существовали болѣе или менѣе темныя и загадочныя понятія. Поэтому совершенно естественно то участіе, съ какимъ всѣ читающіе люди встрѣтили книгу Устрялова.

Съ первыхъ дней своего появленія въ публикѣ, эта книга возбудила самые разнородные, противорѣчащи толки о значеніи эпохи Петра Великаго и вызвала снова на горячее обсужденіе вопросы, не только давно всѣмъ знакомые, но по-видимому решенные или по-крайней-мѣрѣ значительно исчерпан-

ные. Давно уже замолкшая борьба безусловныхъ почитателей и непреклонныхъ противниковъ Петра опять возобновилась въ различныхъ кружкахъ нашей образованной публики. Снова привелось намъ слышать множество болѣе или менѣе рѣзкихъ мнѣній за реформу и противъ реформы Преобразователя; и въ этихъ горячихъ толкахъ ясно обнаружилась теперь несостоятельность тѣхъ крайнихъ возврѣній, какія въ былые годы печатно проводились въ нашей литературѣ. Время сдѣлало свое дѣло. Въ однихъ породило оно убѣжденіе въ совершенной ненужности маскироваться именемъ Петра для разъясненія современныхъ вопросовъ русской жизни; другимъ показало, что, при всѣхъ недостаткахъ петровской реформы, мы не въ-состояніи уже воротиться къ временамъ кошихинскихъ порядковъ. Рѣзкія крайности замѣтно сгладились, и для Петра настало время серьозной исторической оцѣнки, безъ раболѣпныхъ поклоненій и безъ упорной непріязни.

Въ ряду разнородныхъ мнѣній, возбужденныхъ книгою Устрялова, больше всего слышались теперь сожалѣнія о царевичѣ, какъ невинномъ страдальцѣ,—и многіе, въ понятіи негодованіи на суровость отца, безжалостно преслѣдующаго сына и обрекающаго на страшныя пытки, вмѣстѣ съ тѣмъ начали несправедливо судить о самомъ значеніи Петра въ государственномъ отношеніи и подъ темнымъ пятномъ семейной суровости не хотѣли уже видѣть и его великихъ дѣлъ. Во многихъ кружкахъ стало высказываться мнѣніе, что для Петра настало время иной исторіи и онъ долженъ будто-бы сойти съ пьедестала, на который такъ высоко поставили его рьяные приверженцы запада и поклонники европейской цивилизациіи.

Что для эпохи Петра I настало время серьезнаго исторического суда, въ этомъ нельзѧ сомнѣваться; но съ другой

стороны мы убѣждены, что никакой справедливый судъ не можетъ не признать заслугъ этого исторического лица. Въ наше время несправедливость обонхъ, до-сихъ-поръ господствовавшихъ у насъ взглядовъ на отношенія Россіи къ западной Европѣ—съ каждымъ днемъ становится очевиднѣе; и люди честныхъ мнѣній, не окристилизовавшіеся къ упорному застою, сближаются въ одномъ и томъ-же взглядѣ на эпоху Преобразователя. Безпристрастное мнѣніе о значеніи Петра и его времени начинаетъ прочно устанавливаться въ развитой средѣ нашей публики.

Ни о чемъ можетъ-быть такъ много не говорили у насть, какъ о значеніи эпохи петровской реформы, и послѣ долгихъ споровъ понятія о ней въ настоящее время значительно выяснились. Важный вопросъ о томъ, до какой степени необходимъ былъ петровскій переломъ въ русской жизни, и необходимъ-ли онъ былъ въ тѣхъ формахъ и въ тѣхъ крутыхъ размѣрахъ, какъ онъ совершился,—вопросъ давно уже разобранный и исчерпанный.

Долгій общественный застой, порожденный разными обстоятельствами, составляетъ самое характеристическое и оригинальное явленіе въ нашей исторіи. Вѣковое отчужденіе отъ образованнаго міра породило въ нашемъ обществѣ ту замкнутость и неподвижность, питаемыя предразсудками, поддерживаемыя внутри и извнѣ, которая должны были нравственно погубить общество въ безвыходномъ омертвленіи или очистить его какои-нибудь политической бурею, какимъ-нибудь потрясающимъ переворотомъ. Читая записки Кошихина или Домострой попа Сильвестра, пересматривая старые акты собранные Археографической-коммисіей или Статейные списки русскихъ посольствъ—яспо видишь, какая страшная плѣсень покрыла въ продолженіе вѣковъ русскую жизнь, какимъ томительно-невыносимымъ удушьемъ давила она все

общество, какъ подъ нею глохло и мертвѣло все живое и свѣтлое. И ничто не могло пробить этой одеревѣлой коры, этой неподвижно стоявшей массы. Напрасно Иванъ IV громилъ и терзаль ее съ своими потѣшными опричниками, нѣмцами отравителями, татарскими и ливонскими временщиками, подгребая уголья подъ корчившихся на огнѣ бояръ и истребляя цѣлые города подъ долбнею; напрасно Борисъ Годуновъ призывалъ толпы иноземцевъ, формировалъ нѣмецкіе полки, посыпалъ за границу молодыхъ людей и мечталъ объ основаніи въ Москвѣ университета; напрасно бушевала страшная буря междуцарствія съ Лжедимитріями, тушиńskими ворами, польскими и своимъ разбойниками, потрясая вѣковой порядокъ избраніемъ Василья Шуйскаго и королевича Владислава: старый застой, взволнованный на время, опять устанавливался въ прежней силѣ, прорубленная кора вновь сросталась, прежній неподвижно удущливый бытъ опять охватывалъ недвигающуюся массу. Казалось, обществу суждено было погибнуть въ этой душной средѣ, сдѣлаться жертвой собственного разложенія, подобно какой-нибудь Кипчакской-ордѣ; но Россія на самомъ дѣлѣ не похожа была на татарскія орды, въ народѣ русскомъ подъ наружной апатіей таилась юная мощь, подъ ледяной корою охватившаго общество застоя бились живымъ ключемъ молодыхъ силы. Общество не умирало, не дряхлѣло, а только спало тяжелымъ сномъ, готовое пробудиться отъ какого-нибудь сильного потрясенія. И въ исторіи Россіи какъ-будто повторилась извѣстная сказка о богатырѣ, котораго врагъ изрубилъ въ куски во время сна, а другъ, найдя разбросанные члены, сложилъ ихъ, полилъ мертввой водой — и они срослись, вспрыснуль принесенной издалека живой водой — и богатырь всталъ, схватилъ свое оружіе и пустился на новые подвиги, съ новыми свѣжими силами. Въ самомъ

дѣлѣ, послѣ кроваваго орошенія мертвой водой сплоченыхъ удѣльныхъ членовъ государства при Иванѣ IV и въ междуцарствіе, оставалось вспрыснуть Россію живой струею европейской жизни—и это самое сдѣлалъ Петръ.

Царствованіе Петра отличается замѣчательнымъ сходствомъ съ эпохой французской революціи. Тамъ и здѣсь это была политическая буря, которая потрясла народъ, очистила его общественную атмосферу и приготовила его къ новой жизни. Революція сокрушила во Франціи феодальныя цѣпи, какими съ давняго времени опутана была нація, очистила ее отъ болѣвшихъ цѣлые вѣка общественныхъ ранъ; реформа Петра точно также сокрушила ржавый русскій до-мострой съ его дикими порядками, потрясла и сломала гнилые основы, на которыхъ опиралась китайская стѣна, отдѣлившая насть отъ европейской семьи. Въ нашемъ Петрѣ сосредоточивались всѣ револютивныя силы, которыми обладалъ французскій Конвентъ. Разница въ томъ только, что во Франціи революція родилась во имя большинства, и потому представителями ея были люди, порожденные и воспитанные массою — Дантонъ, Сенъ-Жюсты; въ Россіи-же переворотъ совершился во имя жаждущаго новой жизни меньшинства противъ неподвижно-устоявшейся массы — и оттого въ главѣ ея явился самъ царь. Этимъ самымъ, по особенностямъ историческихъ судебъ Россіи, нашъ переворотъ составляетъ явленіе безпримѣрное, кромѣ разъя неудачнаго повторенія его въ Турціи при султанѣ Махмутѣ II.

Въ царствованіи Петра ясно видны всѣ элементы радикальной реформы, которая потрясла общественный бытъ во имя новой идеи и вела ожесточенную борьбу съ отжившимъ порядкомъ во имя просвѣщенія и цивилизациіи. Съ толпою людей, вызванныхъ изъ различныхъ классовъ об-

щества, энергическихъ и безстрашныхъ, пабранныхъ дома и за-границею, изъ пирожниковъ, бѣглыхъ нѣмецкихъ солдатъ, стрѣльцовъ, съ князь-папами и князь-игуменыами, съ шутами и арабами, Петръ идетъ къ своей цѣли съ тою-же настойчивостью, съ какою шелъ и французскій Конвентъ, окруженный клубистами, эксъ-аббатами, марсельскими выходцами и женщинами въ родѣ Теруань-де-Мерикуръ. Тотъ и другой энергически сокрушаютъ все, что только встрѣчалось имъ па пути останавливающаго или замедляющаго ходъ. Вспомните энергию Конвента: когда французскіе города были заняты врагами, внутри страны грозно поднималось вандейское восстание, предѣламъ государства вездѣ грозилъ непріятель, — онъ создавалъ средства обороны, находилъ деньги, организовалъ арміи, отыскивалъ полководцевъ — и поражаемый, доводимый часто до крайности, все одолѣвалъ героической дерзостью и настойчивостью. Не то-ли видимъ и въ Петрѣ! Въ борьбѣ со шведами и турками, съ войскомъ собраннымъ па скорую руку, предводимымъ пѣмецкими искателями приключеній, разбитымъ Карломъ, чуть не истребленнымъ визиремъ па Прутѣ, онъ смѣло переноситъ столицу въ непріятельскую, только-что захваченную землю, лѣтъ пушки изъ церковныхъ колоколовъ, строить флоты на чужихъ моряхъ — и паконецъ торжествуетъ.

Какъ французская революція, такъ и царствованіе Петра имѣютъ свои драматические эпизоды и кровавыя перипетіи: тамъ взятие Бастилии и Тюльери, здѣсь стрѣлецкіе бунты и неистовства раскольниковъ, тамъ кровавыя событія сентябрскихъ дней, тутъ казни на Дѣвичьемъ-полѣ; тамъ клубы и республиканскіе праздники, здѣсь оргіи въ Лефортовѣ и шутовскія потѣхи въ родѣ свадьбы князь-патріарха Бутурлина. Застьлокъ и кнутъ играли у насъ ту-же самую роль, какъ во Франціи гильотина. Наконецъ въ ту и другую

эпоху пали царственные жертвы, которыхъ революція встрѣтила на своемъ кровавомъ пути: тамъ Марія Антуанета, принцеса Елизавета и Людовикъ XVI, здѣсь царица Евдокія Федоровна, царевна Софья и царевичъ Алексѣй Петровичъ. Французская революція перешагнула чрезъ эшафотъ короля и королевы, Петръ не остановился передъ тюрьмою жены и сестры и передъ застѣнкомъ собственнаго сына.

Читая исторію Петра, на каждомъ шагу невольно вспоминаешь французскую революцію: такъ много общаго въ характерѣ этихъ замѣчательныхъ эпохъ. Мы не думаемъ проводить между ними полную паралель, а хотимъ только указать на это сходство, съ тою цѣллю, что на дѣла Петра Великаго слѣдуетъ смотрѣть, какъ на дѣйствія крутаго переворота, и умѣть отдѣлять принесенные имъ плоды отъ всѣхъ неизбѣжныхъ крайностей, связанныхъ съ подобными эпохами. Не споримъ, что и безъ кровавой реформы Петра Россія рано или поздно вышла бы на европейскую дорогу и можетъ-быть пошла по ней гораздо тверже и сознательнѣе, точно также какъ Франція могла бы найти лучшія формы государственной и народной жизни безъ той страшной ломки, какою означенована ея первая революція. Но этого не случилось: по той и другой странѣ суждено было пройти кровавой бурѣ, которая, освѣжая народы отъ долгаго застоя и готовя ихъ къ новой жизни, вырвала можетъ-быть изъ ихъ быта и много хорошаго. Но что-же дѣлать противъ исторіи! Конвентъ и Петръ, энергически ломая всѣ ветхія основы старого быта, часто задѣвали въ этой ломкѣ и то, что могло-бы еще держаться, даже то, чего совсѣмъ не слѣдовало-бы разрушать. Но это обыкновенное зло революцій, о которомъ можно жалѣть, но котораго нельзя избѣжать въ лихорадочномъ жару народнаго перелома.

Конечно, крутые перевороты ведутъ обыкновенно къ реакції, вызываютъ не менѣе упорное, хотя иногда только пассивное, противодѣйствіе; но это не уничтожаетъ ихъ исторического значенія. Противники Петра, какъ и его почитатели, не рѣдко указываютъ на Францію. Скажите, говорятъ они: какіе плоды принесла французская революція? что выиграла Франція, пройдя чрезъ рядъ переломовъ отъ Наполеона I до Наполеона III? куда дѣвались устаниовленія Конвента и что осталось отъ энергическихъ мѣръ Дантона и Робеспьера? Скажите, прибавляютъ они, обращаясь къ эпохѣ Петра: что дала народу эта крутая реформа, совершиенная во имя европейской цивилизаци? развѣ большинство не осталось въ той-же темнотѣ и неразвитости, въ какихъ оно прозябало и прежде, въ московскую эпоху? Но на всѣ эти вопросы можно отвѣтить другими вопросами, не менѣе вызывающими на мысль: развѣ, не смотря на всѣ несчастія, Франція нашего времени похожа на феодальную, забитую Францію Людовика XV, населенную только маркизами и рабами, аббатами и нищими? развѣ не возвысился въ ней общий уровень народнаго развитія и самосознанія? Развѣ и у насъ, не смотря на утрату нѣкоторыхъ полезныхъ учрежденій, не видать общественнаго успѣха? развѣ настоящая Россія не ушла безвозвратно отъ порядковъ Домостроя, когда общій гнетъ лежалъ на всей домашней жизни? Нѣтъ, за Петра протестуютъ всѣ наши современные успѣхи и надежды.

Притомъ, говоря о Петрѣ, необходимо отдѣлять въ немъ человѣка отъ государя и временныхъ мѣръ его отъ постоянныхъ и коренныхъ. Какъ реформаторъ, онъ не останавливался ни передъ чѣмъ, что только лежало поперекъ избранной имъ дороги, беспощадно ломалъ всѣ перекладины, подставляемыя ему подъ ноги реакціей,—была-ли это древ-

ияя столица, въковой законъ, законная жепа, пародный обычай, освященный временемъ уставъ, первородный сынъ. Съ холодной безпощадностью ломалъ онъ все, что только покушалось остановить ходъ его реформы. Конечно, многие мѣры его были слишкомъ круты и теперь вовсе не кажутся необходимыми. Изъ ненависти ко всему старомосковскому онъ уничтожилъ, напримѣръ, освященный вѣками русскій судъ и, замѣнивъ пародныхъ цѣловальниковъ полу-немецкой системой, подавилъ въ народѣ ту живую струю, до которой потомъ пришлось ему доходить инымъ продолжительнымъ путемъ. Изъ нелюбви къ опозиціонной Москвѣ онъ перенесъ столицу изъ естественного центра, обозначенного всей нашей исторіей, въ болотистый и пустынныи уголъ далекаго прибрежья и тѣмъ парализовалъ внутреннія силы великаго народа, можетъ-быть и не предвидя, что столица останется тамъ надолго. Но при всемъ томъ новая исторія наша должна оправдать Петра и признать темные стороны его реформы за неизбѣжное зло, свойственное всѣмъ переворотамъ, которые, выпалывая изъ народной жизни сорняки травы, вмѣстѣ съ тѣмъ выдергиваютъ питательные колосья, а мѣстами приминаютъ и самую почву.

Книга Устрялова, представляя въ новыхъ чертахъ характерь Петра, какъ государственного дѣятеля и реформатора, въ лицѣ котораго Россія во что-бы ни стало хотѣла выйти изъ дико-татарского мрака на дорогу свѣтлой европейской жизни, въ тоже время проливаетъ новый свѣтъ и на личный характерь царя какъ человѣка. Напечатанный теперь процесъ царевича Алексея Петровича, еще больше чѣмъ дѣло царицы Евдокіи Федоровны и Степана Глѣбова, освѣщаетъ образъ грознаго царя. Давно-ли въ Петрѣ видѣли только «вѣчнаго работника на тронѣ», который

въ скромномъ кабинетѣ, за токарнымъ столикомъ, мирно выдѣльвалъ костяпья паникадила для петербургскихъ церквей, съ топоромъ въ рукахъ плотничалъ на галерной верфи среди матросовъ, давалъ чинить Катенькѣ свой домашній камзолъ, добродушно забѣжалъ отъ обѣдни выпить рюмку анисовки въ казенной австериі, и если иногда брался за свою историческую дубинку и собственоручно наказывалъ упрямцевъ или лѣнивцевъ, то немедленно послѣ того обнималъ ихъ и паграждалъ своимъ примиряющимъ поцѣлуемъ. Но вотъ открываются факты, представляющіе эту грозную личность вовсе не въ такомъ буквическомъ свѣтѣ. Довольно вспомнить одинъ случай. Въ письмѣ къ сыну, адресованномъ въ Неаполь, 10 июля 1717 года, Петръ говорить: «Я тебя обнадеживаю и обѣщаю Богомъ и судомъ его, что никакого наказанія тебѣ не будетъ; но лучшую любовь покажу тебѣ, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». И послѣ этого царевичъ, возвратясь въ Россію, встрѣчасть торжественное отрѣшеніе отъ престола, арестъ и тюрьму, застѣнокъ въ Петропавловской-крѣпости, дыбу и внути въ присутствіи отца. Если участъ царевича напоминаетъ смерть старшаго сына Ивана IV, то и въ характерѣ Петра открываются черты очень близкія къ личности Грознаго: педаромъ Петръ такъ уважалъ своего предшественника въ реформѣ. Конечно, мы не должны забывать, что все это происходило въ то страшное время, когда еще въ самой свѣтлой части Европы нравы ужасаютъ страшной жестокостью, и что черезъ три четверти вѣка позднѣе такія-же свирѣпства повторились во Франціи, пережившей цѣлые вѣка цивилизациі. Но при всемъ-томъ нельзя не содрогаться, читая описание дѣла царевича Алексѣя: при молчаніи и тайнѣ застѣнка, при личномъ присутствіи Петра на пыткахъ, оно несравненно

ужаснѣе, чѣмъ процесъ Людовика XVI и грозныя подробности 21-го января.

Мы сказали, что петровская революція имѣла своего рода procès du rois—это судъ и смерть царевича, столько-же трагическіе, какъ и судьба несчастнаго короля. Въ самомъ-дѣлѣ положеніе этихъ двухъ мучениковъ революціи и даже ихъ личный характеръ представляютъ много общаго. Тотъ и другой поставлены были судьбою какъ преграды революціи, выражая отжившее начало, стоявшее на пути револютивнаго стремленія. Противодѣйствующіе элементы въ ту и другую эпоху были почти одинаково энергичны: кровавыя событія стрѣлецкихъ бунтовъ, частые заговоры противъ Петра, противодѣйствіе духовенства и боярства, пассивная, но въ тоже время упорная опозиція массы—выказали можетъ-быть не менѣе силъ, чѣмъ противореволюціонная партія во Франціи. Эмигранты петровской реформы, по ненависти къ иноземнымъ нововведеніямъ, бѣжали не за-границу, а въ глушь раскольничихъ скитовъ и монашескихъ келій; но сузdal'skій Покровскій монастырь интриговалъ точно такъ-же, какъ и Кобленцъ. Заговоры Шакловитаго и Циклера были не хуже заговора версальскихъ chevaliers du poignard; казанье митрополита Стефана, если не краснорѣчіемъ, такъ по-крайней-мѣрѣ смѣлостію не уступало опозиціоннымъ рѣчамъ аббата Мори и обличительнымъ стихамъ Андрея Шенѣ. Во Франціи и въ Россіи въ главѣ реакціонной партіи стояло по одной энергической женщинѣ, каковы Марія-Антуанета и царевна Софья, между-тѣмъ какъ главные предводители опозиціи Людовикъ XVI и царевичъ Алексѣй были только пассивными ея представителями. Личный характеръ обоихъ жертвъ, черезъ трупы которыхъ перешагнула революція, съ первого взгляда поражаетъ удивительнымъ сходствомъ.

Въ жизни Людовика и Алексѣя Петровича мы находимъ однѣ и тѣ-же черты. Оба они получили воспитаніе далеко не достаточное для правителей великаго государства, выросли въ пошлой и развратной средѣ тогдашней дворской челяди; оба не любили военнаго дѣла и предпочитали ему скромныя занятія слесарнымъ мастерствомъ, повѣркою хозяйственныхъ книгъ, оба симпатизировали духовенству и монахамъ и любили больше всего на свѣтѣ—одинъ свою Марію-Антуанету, другой Ефросинью Федоровну, на которыхъ сосредоточилась ихъ послѣдняя привязанность. Бѣгство въ Вѣну царевича Алексѣя и бѣгство въ Вареніи Людовика XVI, искашихъ спасенія отъ постоянно напиравшей революціи—представляютъ какъ-будто два явленія одной и той-же драмы, которая и заканчивается совершенно одинакими послѣдствіями, арестомъ Людовика, сначала въ Тюльери, потомъ въ Тамплѣ, и заключенiemъ царевича, сперва въ Москвѣ и наконецъ въ казематахъ Петропавловской-крепости. Самый процесъ обоихъ узниковъ, при всемъ различіи въ его формахъ, поражаетъ чертами чрезвычайно-сходными. Все это показываетъ, какъ много общаго въ той и другой эпохѣ.

Что Алексѣй Петровичъ былъ очистительной жертвой, въ лицѣ которой русская революція отрубила звѣно, скрѣплявшее прошедшее съ будущимъ, это видно изъ смысла всего дѣла царевича. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Алексѣй былъ представителемъ отжившаго начала, но въ то-же время видно, что это былъ представитель пассивный и слабый. Старая партия видѣла въ немъ своего естественнаго предводителя; стрѣльцы еще въ 98-мъ году открыто говорили, что онъ не любить нѣмцевъ; духовенство и всѣ приверженцы старины смотрѣли на него съ надеждой и любовью. Царевичъ съ своей стороны не скрывалъ отвра-

щенія къ революції: онъ не любилъ Петербурга, не любилъ нововведеній и неразъ высказывалъ, что если получить когда-нибудь власть, то отмѣнить всѣ отцовскія преобразованія, перейдеть въ Москву, уничтожить флотъ, удалить иностранцевъ. Трехлѣтнее пребываніе за-границей не измѣнило его мыслей: онъ остался тѣмъ-же приверженцемъ старины, тѣмъ-же противникомъ западныхъ порядковъ.

Петръ, очевидно небрежный къ воспитанію сына, увидѣлъ наконецъ въ немъ поборника стараго, ненавистнаго порядка, противника своихъ любимыхъ идей, «разорителя дѣлъ своихъ», какъ говорить онъ самъ въ своемъ «Послѣднемъ Напоминаніи». Съ неумолимой суворостью революціонера, готоваго всѣмъ жертвовать своей любимой идеѣ, онъ въ знаменитомъ письмѣ, поданномъ сыну въ день похоронъ принцесы Шарлотты, обвиняя его преимущественно въ пелюбви къ военному дѣлу, грозитъ лишить наслѣдства и говоритъ, что видѣть въ немъ человѣка «весыма на правленіе дѣлъ государственныхъ непотребнаго». Угрожая отринуть сына, «яко удъ гангренный», царь въ заключеніе прибавляетъ: «лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный». До какой степени самъ Петръ былъ неправъ, воспитавъ сына небрежно и такимъ-образомъ невольно сдѣлавъ изъ него приверженца старой партіи, до какой степени въ гибели царевича участвовали Екатерина и Меншиковъ и почему имъ необходима была смерть его — мы говорить не будемъ. Какъ-бы ни было, но Алексѣй симпатизировалъ старому порядку, не любилъ отца, ненавидѣлъ всѣ его дѣла, — и еслибы судьба привела его на престолъ, то безъ сомнѣнія онъ обратился бы къ прежнему ходу дѣлъ. Мы не думаемъ, конечно, чтобы при всѣхъ его усилияхъ въ уничтоженію реформы Россія могла повернуть опять на старую дорогу: сдѣянный ею шагъ былъ

слишкомъ необходимъ и рѣшилъенъ, чтобы послѣ него была какая-нибудь возможность вернуться къ прежнему быту. Мы хотимъ только сказать, что Петръ видѣлъ въ сынѣ своемъ предводителя контрѣ-революціи и съ фанатизмомъ реформатора не остановился передъ мыслью пожертвовать имъ. Это такъ-же понятно, какъ и дѣйствія какого-нибудь Дантона. Такимъ-образомъ въ Алексѣѣ мы видимъ несчастную жертву нашей революціи, столько-же достойную сожалѣнія, но и столько-же слабую, какъ Людовикъ XVI. Итакъ изъ документовъ петровской эпохи, извѣстныхъ въ настоящее время, мы можемъ составить понятіе о значеніи реформы Петра, о личномъ характерѣ царя и его сына. Во всемъ этомъ исторія теперь можетъ уже произнести справедливый судъ. Но что касается самаго процеса царевича Алексѣя Петровича, — здѣсь факты не представляютъ еще достаточной полноты для окончательныхъ выводовъ историка.

Мы знаемъ положительно, до какой степени царевичъ Алексѣй не любилъ военной службы, какую антипатію питалъ онъ къ дѣламъ отца, какъ преданъ былъ старой партіи и монахамъ; но мы не имѣемъ еще достаточныхъ основаній судить, дѣйствительно-ли онъ думалъ стать открыто въ главѣ реакціи или въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ отказаться отъ престола и принять монашество. На знаменитое письмо Петра, грозившее лишеніемъ наслѣдства, онъ отвѣчалъ письменной просьбою о дозвolenіи самому отказаться отъ престола. Но была-ли откровенна эта просьба или, что вѣроятнѣе, онъ тайль заднюю мысль о возможности нарушить впослѣдствіи это обѣщаніе и сбросить клобукъ — этотъ вопросъ не решенъ окончательно ни Устряловымъ, ни его критиками. Признаніе въ послѣднемъ памѣреніи было вынуждено у него уже при слѣдствіи, 18 февраля

1618 г. Самыя письма его къ отцу, изъ которыхъ въ одномъ онъ просить дозвolenія отречься отъ престола, а въ другомъ объявляетъ, что «желаетъ монашескаго чина», ничего не доказываютъ.

Что царевичъ былъ дурно воспитанъ — это не подлежитъ сомнѣнію. До девяти лѣтъ онъ былъ подъ надзоромъ матери, потомъ въ рукахъ певѣжественнаго Вяземскаго и развратнаго Нейгебауера. Вліяніе умнаго и образованнаго Гюйссена не могло уже отклонить его отъ полученныхъ въ дѣствѣ наклонностей, отъ симпатіи къ старой партіи и монахамъ. Учился онъ дурно, безъ всякой системы: семнадцати лѣтъ твердилъ еще пѣмецкія склоненія и только на 18-мъ году принялъся за французскій языкъ. Отношенія его къ женѣ, довольно-темная въ исторіи Устрялова, выяснились пѣсоколько въ замѣчательной лекціи, читанной Погодинымъ въ залѣ петербургскаго Пассажа. Упреки въ развратѣ падаютъ на царевича со стороны Петра, а собственныя признанія его въ этомъ вынуждены только впослѣдствіи или пыткою, или тѣми обстоятельствами, при какихъ онъ говорилъ объ этомъ въ Вѣнѣ цесарскому вице-канцлеру Шенборну. Что касается связи съ Ефросиньей и намѣренія жениться па ней, то можно-ли упрекать въ этомъ царевича, когда передъ глазами его былъ примѣръ отца, который не стѣснялся тѣмъ, что его жена еще не лежала въ могилѣ, какъ принцеса Шарлота.

Спрашивается: имѣмъ-ли мы достаточно данныхъ на то, чтобы въ настоящее время произносить окончательное сужденіе надъ царевичемъ Алексѣемъ и рѣшить его дѣло съ историческимъ безпредвзятіемъ? По нашему мнѣнію, не смотря на обиліе документовъ, собранныхъ Устряловымъ, время для подобнаго суда еще не настало. Съ одной стороны исторія не вполнѣ еще опредѣлила мѣру участія

Екатерины и Меншикова въ дѣлѣ Петра съ сыномъ; а съ другой нѣть возможности справедливо обсуживать пропасть, въ которомъ всѣ данные состоять почти изъ однихъ показаній слѣдственного дѣла, отобранныхъ у подсудимыхъ съ виски и подъ кнутомъ. Могутъ-ли имѣть какой-нибудь вѣсъ показанія, вынужденныя муками! Что значатъ подобные признанія въ дѣлѣ, где гибель обвиненныхъ по всѣмъ вѣроятіямъ рѣшена уже была заранѣе, въ которомъ, говоря словами Погодина, повторилась сцена между волкомъ и ягненкомъ! Едва-ли беспристрастный историкъ рѣшится судить когда-нибудь на основаніи однихъ показаній обреченныхъ на гибель жертвъ, хотя бы эти признанія и не были вынуждены пыткою.

Между-тѣмъ въ книгѣ Устрялова мы паходимъ постоянно такие приговоры: онъ безпрестанно ссылается на вынужденныя показанія, какъ на положительно-несомнѣпнныя свидѣтельства, и спокойно дѣлаетъ изъ нихъ свои выводы. Такой странный пріемъ, недостойный серьезнаго исторического труда, съ первого взгляда непріятно поражаетъ въ его книги, и мы удивляемся, какъ мало наша критика обратила на это вниманія. Устряловъ часто обнаруживаетъ промахи, ничѣмъ необъяснимые. «Царевичъ самъ пишетъ въ откровенномъ показанії, дней за пять до кончины», говоритъ онъ и на этомъ пресерьозно основываетъ свои заключенія. А между-тѣмъ это «откровенное показаніе» писано царевичемъ 22 июня, тогда какъ 19-го ему дано было въ застѣнкѣ двадцать-пять ударовъ кнутомъ. Хорошо откровенное показаніе, хорошо и фактъ для выводовъ историка! И на подобныхъ документахъ основаны многія сужденія Устрялова о поведеніи царевича. Таково напримѣръ показаніе Кикина, который говорилъ будто-бы Алексѣю Петровичу, уговаривая его притворно постричься:

«вѣдь клубокъ не гвоздемъ къ головѣ прибить». Таковъ и совѣтъ князя Василья Долгорукова, при полученіи царевичемъ отцовскаго посланія: «давай писемъ хоть тысячу, еще когда что будетъ; старая пословица: улита ёдетъ, коли-то будетъ. Это не запись съ пеустойкою, какъ мы прежь сего межъ себя давывали». Оба эти показанія продиктованы клутомъ. Вообще сужденія нашего историка строятся на такомъ-же шаткомъ основаніи и потому не заслуживаютъ полнаго довѣрія. Такимъ-образомъ, если въ первыхъ томахъ исторіи Устрялова критика показала нѣкоторыя напряжки, какъ напримѣръ извѣстное происшествіе съ астролябіей, которымъ авторъ хотѣлъ доказатьничтожность вліянія Лефорта на развитіе Петра, то здѣсь произвольные выводы являются у него гораздо чаще.

Понятно, что критика, не находя у Устрялова ни особынаго таланта историческаго изложенія, ни ученой пропицательности, не можетъ считать его книгу серьезнымъ историческимъ сочиненіемъ. Въ глазахъ будущаго историка трудъ его будетъ только материаломъ въ дѣлѣ царевича Алексѣя Петровича, но и материаломъ далеко не полнымъ, по бѣдности источниковъ иностранныхъ, и не очищеннымъ критикою, а только перепечатаннымъ два раза, — сперва въ связи, а потомъ въ видѣ отдѣльныхъ приложений. Конечно, имѣя въ рукахъ значительное количество неизвѣстныхъ документовъ, Устрялову трудно было удержаться отъ искушенія издать ихъ именно въ видѣ исторіи; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы подобному изданію сухихъ материаловъ въ-самомъ-дѣлѣ можно было дать название исторіи.

МЕРТВЫЯ ДУШИ БОЛЬШАГО СВѢТА.

(«Въожданіи лучшаго», романъ В. Крестовскаго).



Русская литература, представляя много картинъ и портретовъ изъ разныхъ слоевъ нашего общества, до сихъ поръ очень бѣдна произведеніями изъ быта высшаго круга, изъ жизни такъ называемаго большаго свѣта. Всѣ другія среди постоянно давали канву для нашихъ талантовъ. Съ легкой руки фонвизинскаго «Недоросля» и до «Записокъ Охотника» нашъ провинціальный бытъ доставилъ цѣлый рядъ типовъ изъ мелкой помѣщичьей жизни, во всѣхъ ея оттѣпкахъ, со всѣми слѣдами нашего исторического развитія. Григоровичъ и Писемскій познакомили нась съ жизнью русскаго крестьянина, можно сказать «наканунѣ» эпохи измѣненія его быта и возрожденія его гражданской самостоятельности. Въ комедіяхъ Островскаго, въ лицѣ русскаго купца, явился предъ нами типъ старого русскаго человѣка, съ остатками до-петровскаго быта, со всѣми началами уцѣлѣвшаго въ немъ ветхаго Домостроя. Наконецъ въ произведеніяхъ художника, положившаго осно-

вание новой школы въ нашей литературѣ, прошли передъ нами яркія картины темнаго провинціального и городскаго быта, во всемъ разнообразіи, со всѣми этими мертвыми душами, въ которыхъ или никогда не просыпалась, или когда-то замерла жизнь и заглохли духовныя силы. Въ поэмѣ Гоголя отразилась вся пошлость, порожденная тѣмъ переходнымъ состояніемъ общества, когда старая допетровская гниль смѣшалась съ наплывомъ чужой плѣсени, отжившая кремлевская лѣнь Обломовыхъ столкнулась съ дѣятельностью Чичиковыхъ и отразилась на различныхъ ступеняхъ общества, кромѣ такъ называемаго большаго свѣта. Одинъ этотъ большой свѣтъ оставался въ сторонѣ, почти не тронутый въ нашей литературѣ. Изрѣлка только писатели наши приподымали край завѣсы, отдѣлявшей этотъ таинственный міръ, и приглашали пась взглянуть на него или съ великосвѣтскими донъ-кихотами Соллогуба, или съ желчнымъ вольнодумцемъ Чацкимъ, или съ аристократической сестрицей Обломова, лѣпивой мадамъ Бѣловодовой. Несмотря на кратковременность такихъ визитовъ въ великосвѣтскіе салоны, мы однакожъ догадывались, что въ этомъ кругу, такъ легко повидимому усвоившемъ западную цивилизацию, таится корень нашей общественной пустоты, что изъ него-то именно спускается та пошлость, какую мы видѣли на другихъ ступеняхъ нашей жизни.

Отчего-же этотъ большой свѣтъ такъ мало обращалъ на себя вниманія нашей литературы? отчего у насъ, при богатствѣ и разнообразіи талантовъ, до сихъ-поръ не было полныхъ картинъ его быта и вѣрныхъ, оконченныхъ портретовъ его представителей? Оттого-ли это, какъ говорять иные, что онъ недоступенъ большинству нашихъ писателей, которыхъ этотъ свѣтъ не пускаеть въ свои гостиныя, а слѣдовательно и не даетъ возможности основательно изу-

чить его? Оттого-ли, какъ увѣряютъ вѣкоторые изъ нашихъ писателей, знающіе этотъ свѣтъ по рассказамъ изъ вторыхъ рукъ, что самъ онъ слишкомъ мелокъ и безличенъ и что въ немъ нѣть ни страстей, ни характеровъ, на которыхъ могъ-бы остановиться взглядъ мыслителя? Оттого-ли наконецъ, что по мнѣнію многихъ нашъ большой свѣтъ, служа только лубочной копіей съ европейскаго и особенно французскаго, или лучше сказать, парижскаго *beau monde*, не представляетъ ничего самостоятельнаго и слѣдовательно не въ состояніи дать ни казы, ни красокъ для писателя-художника?—Мы въ этомъ сомнѣваемся. Развѣ при нашей общественной разрозненности легче писателю сблизиться съ крестьяниномъ и торговцемъ, чѣмъ съ этимъ моднымъ кругомъ; а между-тѣмъ Писемскій, Григоровичъ и Островскій показали намъ полныя картины визшаго сословія, проникнутыя истиной и жизнью. Мелокъ и безличенъ быть провинціального помѣщичьяго круга, и не смотря на то, Гоголь и Тургеневъ умѣли разглядѣть самыя тонкія воловна этой жизненной типы и мѣткими линіями очертить физіономіи этихъ лицъ, повидимому такъ нехарактерныхъ и безразличныхъ. Наконецъ, несмотря на гонку нашего свѣтскаго круга за европеизмомъ и полутора-вѣковыя усилія его переродиться во французскихъ маркизовъ и виконтесъ,—кто-же при самомъ поверхностномъ взглядѣ, если только захочетъ по совѣту Наполеона поскоблить ногтемъ, gratter un peu этотъ вывезенный изъ за-границы лакъ, кто, говоримъ мы, не найдеть подъ нимъ совершенно особеннаго характера, своеобразнаго воспитанія и самобытной жизни! Не смотря, повторяемъ мы, на всевозможныя усилія тануться за европейцами, этотъ общественный слой сохранилъ вполнѣ свою особенную физіономію, и какъ-бы онъ ни прикрывался душистымъ лоскомъ фран-

цузской свѣтскости или англійской фешонебельности, но подобно Петрушеѣ Чичикова, онъ и на Баденскихъ-водахъ, и въ парижскихъ салонахъ Сенъ-Жерменского предмѣстья, и на лондонскомъ альмакѣ поситъ свой собственный запахъ, котораго ему нельзя заглушить ни утонченной свѣтскостью, ни моднымъ либерализмомъ.

Исторія этого класса общества со временъ Петра Великаго чрезвычайно характеристична. Выйдя изъ кровавой передряги междуцарствія съ воспитаніемъ стараго Домостроя, въ длиннополомъ кафтанѣ и мурмолкѣ, съ пятномъ татарскаго вліянія на жизни и нравахъ, надломленный съ одной стороны мѣстничествомъ, а съ другой поддержаный льготами Годунова, онъ дожилъ до петровской реформы съ темнымъ предчувствіемъ недолговѣчности старыхъ порядковъ и съ открытой враждой къ европейской жизни. Тутъ попалъ онъ въ страшную ломку, какую только представляеть намъ всемірная исторія. Ветхозавѣтное боярство, обросшее мохомъ за кремлевскими стѣнами, должно было по барабану обрить бороды, облечься во французскіе кафтаны и съ поклономъ принять въ среду свою новыхъ соратовъ, навербованныхъ изъ солдатъ, пирожниковъ и разныхъ нѣмецкихъ авантюристовъ, искателей фортуны безъ рода и безъ имени. И вотъ люди, которые педавно еще па парадныхъ дворскихъ обѣдахъ опускались энергически подъ столъ, если по ихъ мнѣнію сажали ихъ не по чинамъ и мѣстамъ, теперь должны были смиренно сидѣть за однимъ столомъ съ голландскими шкиперами и нѣмецкими драбантами, насквозь пропитанными табакомъ и шнапсомъ. Дородныя боярыни, толстѣвшія нѣсколько вѣковъ у косащатыхъ оконъ своего терема, подъ тяжелой фатою и слоемъ бѣлиль и румянъ, потребованы были въ новыхъ французскихъ робонахъ, съ открытой шеей и плечами, на фран-

цузскія асамблеи, и рядомъ съ женами голландскихъ каптеиновъ и веселыми Madchen изъ Нѣмецкой-Слободы должны были ходить подъ музыку въ менуэтъ и присѣдать и улыбаться незнакомымъ драбантамъ и лейбъ-кампанцамъ. Петербургъ, танцевальная асамблеи, общество «всепьяпѣшаго братства» Ромодановскихъ, дубинка, князь-папы и князь-игумены, шкипера и драбанты, — все это цѣликомъ оторвало верхній слой общества и повернуло его затылкомъ къ народной жизни и ко всѣмъ прежнимъ порядкамъ.

Порѣшивъ китамъ - образомъ волей и неволей съ своимъ прежнимъ бытомъ, наше свѣтское общество захотѣло переродиться на манеръ европейскій, — и тутъ началась усиленная гонка за чужими нравами и обычаями. Подъ вліяніемъ неутомимой дубинки и новыхъ жизненныхъ приманокъ, мало-по-малу началь образоваться у насъ новый большой свѣтъ и пустился въ Европу изучать образованный и утонченный міръ французскихъ маркизовъ и шевалье. Но скоро образоваться не легкo, особенно по приказу или назаказъ; гораздо проще перенять свѣтскую внѣшность — костюмъ, языки, привычки. И вотъ у насъ воспитался кругъ людей, одѣтыхъ по европейской модѣ, съ французскими приемами, съ языкомъ версальского общества, съ нравами временъ регентства и *les petits soupés*, но въ то-же время съ старой самодѣльною подкладкой подъ европейскимъ кафтаномъ, съ татарскими замашками подъ французской утонченностью, съ прежнимъ мѣстничествомъ перевернутымъ наизнанку, съ новымъ презрѣніемъ ко всему русскому и обезьянски-рабскимъ поклоненіемъ чужой внѣшности. Такова была закваска людей такъ- называемаго свѣтскаго круга. И переходя въ продолженіи полутора вѣковъ черезъ нѣмецкое регентство Бирона, французские нра-

вы екатерининского времени, заглядывая на потсдамский парад Фридриха II и въ фернейский кабинетъ Вольтера, прикидываясь по модѣ то англоманомъ, то французы, то скептикомъ, то патріотомъ, то ханжей — это пестрое, во своеобразное общество дожило до XIX вѣка.

Не любопытно-ли взглянуть послѣ этого, что такое этотъ большой свѣтъ теперь, въ настоящую эпоху, когда русская мысль, понявшая и вредную односторонность старомосковского быта, и гибельную пустоту набожнаго поклоненія западной цивилизациі, сознательно начала отыскивать свою самобытную дорогу, обращаться въ собственной своей жизни и всматриваться внимательнѣе въ ея рычаги и тормозы. Не поучительно-ли въ то время, когда кисть даровитыхъ художниковъ дала намъ портреты крестьянина, купца, чиновника, помѣщика, показала и остатки старорусской лѣни въ Обломовѣ и проявленія новой дѣятельности и положительности въ Калиновичахъ и Штолыцахъ, когда мысль наша стала вдумываться и въ задачи воспитанія, и въ назначение женщины, — не любопытно-ли, не любопытно-ли, говоримъ мы, посмотретьъ въ такое время внимательнѣе и на верхнія ступени нашего общества, на картину большого свѣта, и посмотретьъ на нее безъ подготовленной задней мысли и *sine ira*, не сквозь зеленые очки сологубовскихъ героевъ и не въ окно, полузавѣшенное розовой шторой, какъ это водилось до сихъ-поръ въ нашей литературѣ.

Замѣчательный опытъ такого спокойнаго и внимательнаго взгляда на большой свѣтъ встрѣтили мы въ романѣ В. Крестовскаго: «Въ ожиданіи лучшаго».

Прежде чѣмъ обратимся къ разбору его, замѣтимъ, что самое заглавіе имѣеть здѣсь большой смыслъ. Одинъ изъ наиболѣе любимыхъ публикою писателей, представляя

въ художественномъ произведеніи, полномъ истины и поэзіи, картину нашей общественной жизни средняго круга, выразилъ не только смысломъ романа и лицами, но и самыемъ его названіемъ ту мысль, что это общество живеть «наканунѣ» новой эпохи, въ которую должны проснуться въ немъ дѣятельныя силы. И въ художественныхъ образахъ и положеніяхъ высказалъ онъ отрадное слово падежды. Романъ В. Крестовскаго, и содеряніемъ своимъ и самыемъ названіемъ, представляетъ какъ-бы оборотную сторону той-же медали. Переходя отъ массы всего русскаго общества въ болѣе ограниченный и замкнутый кругъ большаго свѣта, мы видимъ здѣсь, что по мысли автора поваго романа среда эта стоить не наканунѣ возрожденія, но пока еще «въ ожиданіи лучшаго».

Романъ В. Крестовскаго представляетъ широкую и довольно полную картину нашего свѣтскаго круга, обставленную цѣлою толпою взятыхъ изъ среды его лицъ, начертанную вѣрной, искусной рукой и написанную свѣжими и яркими красками. Посмотримъ- же, что эта за картина.

Рассказывать содержаніе подобнаго рода сочиненій очень затруднительно, не столько по многосложности интриги или обилію лицъ, сколько по тонкости нитей, изъ которыхъ сплетаются характеры и положенія. А потому, кто не знаетъ этого романа, тѣмъ мы совѣтуемъ прочесть его, и сами станемъ говорить о немъ, какъ о сочиненіи извѣстномъ читателямъ. Романъ этотъ, по нашему крайнему разумѣнію, вводить насъ въ міръ мертвыхъ душъ большаго свѣта, полный такой- же пустоты и пошлости, какъ и тотъ міръ, который показалъ намъ Гоголь въ своей поэмѣ, съ тою только разницею, что въ одномъ грязь цѣликомъ мечется въ глаза, ничѣмъ не прикрытая и не замаскированная, а въ другомъ она таится подъ блондами,

бриліантами, изящнымъ французскимъ языкомъ и претензіями на комфортъ и образованность. Но сквозь этотъ блескъ и лакъ, изрѣдка еще настоящій, а болѣе фальшивый, нравственная пустота и испорченность проступаютъ во всемъ своемъ отталкивающемъ безобразіи. Романъ В. Крестовскаго не что иное, какъ мѣткій щелчокъ свѣтскому кругу, но щелчокъ въ то-же время мягкий, данный въ прекрасной перчаткѣ, при очень вѣжливой улыбкѣ: это сатира тонкая, деликатная, безъ видимой жолчи и гнѣва, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно ловкая и чувствительная. Обличительный свѣтъ какъ-будто прикрыть въ ней какимъ-то розовымъ абаџуромъ, но именно для того, чтобы подъ нимъ яснѣе и отчетливѣе видны были всѣ темные пятна и самая легкая плѣсень этого мишуриаго быта. Съ первого взгляда здѣсь на всемъ лежитъ какая-то мягкость, но при всемъ-томъ вамъ становится душно въ этой великосвѣтской атмосфѣрѣ, такъ-же душно, какъ и въ обществѣ грязныхъ лицъ Гоголя. Тутъ не обманываютъ начальство и не обираютъ купцовъ, какъ Сквозникъ-Дмухановскій, не воруютъ казеннаго достоянія покупкой вымершихъ душъ, какъ Чичиковъ, но тутъ крадутъ у общества его свѣжая силы и живыя души; тутъ нѣть ни крупныхъ злодѣйствъ, ни поголовнаго взяточничества, ни голой грязи, а между тѣмъ вы томитесь и задыхаетесь не отъ испорченности воздуха, а оттого что тутъ совсѣмъ его нѣтъ, что подъ этимъ безвоздушнымъ колоколомъ невозможно дышать человѣку свѣжему и здоровому.

Не напрасно въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя преобладаютъ мужскія лица, и только эпизодически, въ легкихъ эскизахъ являются почти безъимянныя дамы «просто пріятныя и пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ»: въ томъ темномъ провинціальномъ мірѣ женщина такъ еще безлична

и безправна, что теряется безъ образа и голоса въ массѣ своихъ темныхъ родителей и супруговъ, обнаруживая признаки жизни только тамъ, гдѣ является баль или сплетни. Не случайно и въ романѣ В. Крестовскаго видимъ мы преобладаніе женскихъ лицъ въ этомъ мірѣ, гдѣ все совершаются черезъ женщинъ, не потому чтобы въ нихъ было больше развитія и силы, а оттого напротивъ, что въ женской массѣ этихъ мертвыхъ душъ подобная дѣятельность поглощаетъ всю жизнь. Великосвѣтскія дамы—полныя представительницы этого круга, съ его пустотою, нескончаемой нитью интригъ, спѣсью и жеманствомъ, мелочной щепетильностью, презрѣніемъ ко всему не блестящему мишуровою и незнаніемъ вопросовъ общественныхъ и гражданскихъ. Понятно такимъ-образомъ, почему авторъ ввелъ въ романъ свой преимущественно дамъ.

Въ толпѣ этихъ мертвыхъ душъ свѣтскаго круга являются своего рода Плюшкины, Сквозники-Дмухановскіе, Хлестаковы, Коробочки, Держиморды—въ блондовыхъ платьяхъ и бриліантахъ, но съ тѣми-же татарскими приемами, съ тѣми-же общими отпечатками пошлости. Одно изъ лицъ романа, играющее въ немъ роль Чацкаго, характеризуя большой свѣтъ, опредѣляетъ его такъ: «Общество это до конца прогнило, а все еще на себя радуется! Education, как же! французско - замоскворѣцкое нарѣчие! Женщины... Которая и поумнѣе, та боится думать, насиливо себѣ одуряетъ изъ приличія: думать непримично. Да никто ничего и не думаетъ... Что тутъ думать? закрыть глаза, да доживать какъ-нибудь... Эти барыни привередницы, эта молодежь недоучка нося поднимается, по уши въ долгахъ, за плечами скверная исторія. Ни въ комъ правды, ни въ комъ достоинства; другъ передъ другомъ до конца унизились, пенавидятъ другъ друга. И вѣдь какъ глупы!

Сжалится кто-нибудь надъ ихъ дурью, станеть имъ говорить: «опомнитесь», куда! прогибаются: «сажитаторъ, опасный человѣкъ...» Вотъ канва, по которой вышита вся картина романа. И рисуя мастерски это общество, авторъ съ особеннымъ вниманіемъ отдѣлываетъ его женские типы. Передъ вами проходитъ цѣлый рядъ свѣтскихъ барышнъ, цѣлая коллекція женскихъ портретовъ этихъ мертвыхъ душъ своего круга.

Лучшій и болѣе выдержаній типъ въ этой богатой галерѣ—княгиня Десятова, представительница своего кружка, центральный мыльный пузырь, около которого вращаются всѣ другіе. Всѣ черты этого лица подмѣчены и выражены такъ искусно, что передъ вами является полный, законченный портретъ. Съ значительнымъ, но беспорядочнымъ состояніемъ, надменная своимъ родомъ, невозмутимо-холодная при всѣхъ обстоятельствахъ жизни, съ характеромъ стойкимъ, но насквозь пропитаннымъ свѣтской пустотою, окруженная жадными наслѣдниками, съ нетерпѣніемъ ожидающими ея смерти, и приживалками, вы-прашивавшими подачекъ—она всю жизнь посвятила только поддержанію своего достоинства, нисколько не подозрѣвая, что эта-то самая жизнь больше всего и служить къ его унижению. Характеръ ея довольно мѣтко опредѣляетъ то-же дѣйствующее лицо повѣсти, о которомъ мы говорили: «Она не человѣкъ, она нѣчто безплотное, а если уступаетъ и соглашается, что и она сотворена изъ костей и тѣла, то это, по ея понятіямъ, нѣчто иное чѣмъ у другихъ, нѣчто, если еще несовсѣмъ бессмертное, то просвѣтленное».

Подъ этой москворѣцкой Рекамье является молодая, прелестная Катерина Александровна Алексинская, жена честнаго и образованного человѣка, который вошелъ въ

большой свѣтъ только потому, что женился на этой женщинѣ, и на которого этотъ свѣтъ смотрить какъ на ничтожного и негоднаго парвено. Онъ любить жену со всѣмъ увлеченіемъ страсти. Но эта «лучшая изъ своего круга» женщина, какъ говорить авторъ,—отдается молодому гусару, князю Ивану Десятову, пошлому фату, который живеть долгами въ надеждѣ на вожделенную кончину бабушки. Эта негодяй отличается той свѣтско-цинической наглостью, которая дается только низостью испорченной души, отсутствиемъ воспитанія и врожденной увѣренностью въ превосходствѣ крови, въ безнаказанности распутства, огражденной громкимъ именемъ и выгоднымъ положеніемъ въ свѣтѣ. Съ открытымъ безстыдствомъ отталкиваетъ онъ свою любовницу, нисколько не скрывая, что она ему надоѣла; а эта блестящая, гордая великосвѣтская дама вѣшается ему на шею, недумая нетолько о мужѣ или о чести, но даже о соблюденіи приличій, что считается у подобныхъ барынь единственнымъ кодексомъ нравственности, единственной уздою всѣхъ дѣйствій и поступковъ. И пусть-бы это искупалось еще истинной страстью любящей души: мы не бросили бы камня и въ преступную женщину, если-бы она дѣйствительно искренно любила. Вспомните романъ Жоржъ-Зандъ Leone Leoni. Вы помните эту Жульету, которая до безумія любить вѣтренаго, распутнаго игрока и не можетъ бросить его, не смотря на всѣ оскорблія и беспрестанныя измѣны и обманы. Но кто решится осудить эту женщину и бросить въ нее камень, когда она такъ много и такъ безкорыстно любила! Не такова эта Алексинская. Въ Жульетѣ поэтъ написалъ намъ высокій гимнъ женскому сердцу, въ Катеринѣ Александровнѣ мы видимъ одно только распутство, полузамаскированную свѣтскими приличіями чувственность и хроническую испорченность. Эта женщина служить живымъ коментаріемъ свѣтскаго

воспитанія съ его пошлостью и пустотою. Авторъ съ большимъ искусствомъ очертилъ эту личность и раскрылъ всѣ тонкія пружины, управляющія этимъ «маленькимъ сердцемъ». Впрочемъ мы не видимъ въ этой барынѣ никакого сердца. Вотъ, напримѣръ, какъ она проводитъ время, собираясь къ княгинѣ, на свиданіе съ любовникомъ, который давно уже приѣхалъ, но не думаетъ навѣстить ее.

«Она дала себѣ заснуть, замявшись свое чувство, и опять замяла свою мучительную мысль, подумавъ по-французски que c'est une fatalité», молилась, не давая себѣ плакать, чтобы не быть неприлично разстроеною въ теченіи дня, соображая, хотя благочестиво и отвѣчонала это соображеніе, что ея вышитое платье недовольно свѣжо, потому-что уже одинъ разъ было надѣто, и вслѣдъ затѣмъ занялась съ Настей этимъ платьемъ. Потомъ успокоилась, что платье восхитительно, и даже улыбнувшись ему, она выпила немнога молока и попла гулять. Природа наводитъ на размышленія, но раздуматься не даетъ, тѣмъ менѣе тому, кто не привыкъ раздумываться: сладкая мысль que Dieu est bon! смѣшалась какъ-то съ запахомъ цветовъ»...

А вотъ въ какомъ положеніи эта женщина, когда несчастный мужъ узнаетъ о ея связи съ княземъ Десятovskyмъ и въ отчаяніи рѣшается на самоубийство. Она сперва хочетъ уѣхать, а когда это не удается, плачетъ — что о ней дурно заговорятъ въ обществѣ.

«Въ домѣ все затихло. Катерина Александровна еще оставалась въ своей гостиной, въ отупленіи, въ полудремотѣ, потому-что не хотѣлось подняться съ мѣста. Тишина успокоила ея первы; спокойствіе было приятно, и потому Катерина Александровна поспѣшила вспомнить неопровергнутую истину, что все на свѣтѣ проходитъ. Потомъ, pour donner un autre cours aux idées, она взяла книгу, говоря

себѣ, какъ-будто въ успокоеніе какого-то далекаго упрека совѣсти, что таєъ она проведеть ночь, que cela sera une veillée. Книга была романъ Февала и вскорѣ заинтересовала ее».

Вокругъ этихъ двухъ лицъ, княгини Десятовой и madame Alexynsky, группируются другія мертвыя души большаго свѣта — Мороновы, Гусицкія, четырнадцатилѣтній графъ Вася, любимецъ бабушки, и наконецъ штатныя и сверхъ-штатныя приживалки этого маленькаго дворика. Здѣсь выступаютъ на первый планъ два лица, двѣ прозрительно-покровительствуемыя пари: это кочующія приживалки, Анна Федоровна Абарова и дочка ея Полина. Въ этихъ лицахъ авторъ рѣшаетъ любопытную задачу. Трудно представить что-нибудь непріятнѣе этихъ двухъ существъ, втирающихся почти насильно туда, гдѣ на всякому шагу имъ даютъ чувствовать оскорбительное презрѣніе. Абаровамать—настоящій лакей большаго свѣта, низкій и наглый. Полина, умная и энергичная дѣвушка, понимаетъ всю тягость своего положенія и между-тѣмъ ни за-что не хочетъ выйти изъ него трудомъ. Она презираетъ кругъ, въ которомъ родилась, ненавидитъ большой свѣтъ, понимаетъ его мелочность и пошлость, и въ то-же время пресмыкается въ качествѣ приживалки и безъ страсти дается въ обманъ одному изъ его представителей—тому-же Десятову. Это воплощенное отвращеніе къ честному труду и зависть къ аристократіи и богатству. И эта-то жалкая дѣвушка нетолько выдается свѣтлѣе предъ другими велико-свѣтскими лицами романа, но гораздо больше Алексинской привлекаетъ участіе, интересуетъ своей судьбою, даже возбуждаетъ нѣкоторое сожалѣніе, когда, обольщенная княземъ, она принуждена выйти замужъ за безсловеснаго, но грязнаго человѣка, ея будущаго тирана. Не оттого-ли это, что при всей испор-

ченності, въ натурѣ этой остались еще кое-какія жизненныя черты, не затертыя свѣтской пошлостью? Или наконецъ оттого, что въ ней видна жертва того-же самаго свѣта!

Такимъ-образомъ ясно, что цѣлью автора было показать въ этомъ романѣ сатирическую картину свѣтскаго общества и въ особенности его дамскаго круга. Вся пустота этого общества, умѣвшаго сочетать, по выражению поэта, «Европы лоскъ и варварство татарства», представлена съ знаніемъ этого быта и тонкимъ его анализомъ. Еще болѣе достоинства придаетъ этой картинѣ то, что авторъ умѣлъ освѣтить ее какимъ-то особенно мягкимъ сатирическимъ свѣтомъ; это не безпощадный смѣхъ Гоголя, а тонкая полузатаеная иронія, не столько высказываемая словомъ, сколько лицами и ихъ положеніями. Здѣсь слезы видны не сквозь смѣхъ, а подъ иронической улыбкой презрѣнія.

Но можетъ-быть спросятъ: нѣтъ-ли подъ темными красками этой картины какого-нибудь свѣтлого проблеска, нѣтъ-ли въ этой средѣ сѣмянъ будущаго перерожденія? не стоитъ-ли она можетъ быть «паканунѣ» перехода къ новой жизни, къ иному болѣе чистому существованію? Въ романѣ мы видимъ только, что этотъ свѣтскій кругъ живетъ пока «въ ожиданіи лучшаго». А на вопросъ: возможно-ли ждать теперь этого лучшаго, авторъ отвѣчаетъ превосходно поставленнымъ лицемъ младшаго внука княгини Десятовой, Васи, представителя подрастающаго поколѣнія этого круга. Что-же это такое? Если изъ всѣхъ отталкивающихъ лицъ романа нужно кому-нибудь отдать первенство, то конечно его долженъ получить этотъ мальчикъ, умѣющій въ четырнадцать лѣтъ ухаживать за бабушкой въ надеждѣ сдѣлаться ея наследникомъ, который топчетъ ногами ея загнанныхъ

приживалекъ, подсматриваетъ и подслушиваетъ любовныя сцены, льстить и переносить сплетни, однимъ словомъ — представляетъ уже не тощій плодъ, а самый ростовъ ёдва распустившійся и пораженный уже порчею.

Въ дополненіе характеристики этого міра мертвыхъ душъ, мы приведемъ одну небольшую сцену изъ романа, въ которой онъ отразился со всей полнотою. Когда Неряцкій, управляющій Алексинскихъ, отказался заниматься дѣлами княгини Десятовой и смѣло высказалъ это, весь этотъ кружокъ забилъ тревогу.

« — Catherine, произнесла княгиня: напиши своему мужу, моя милая... Или, я полагаю, ты можешь это сдѣлать сама, ты госпожа въ своемъ имѣніи: прогони своего управляющаго. C'est un rustaud, un animal comme il n'y en a pas, un chien hargneux!...

— Это точно опасный человѣкъ, сказалъ Пехледовъ.

— Да, опасный! повторила настоятельно княгиня: — ты слышала-ли, какъ онъ разсуждаетъ? Онъ сейчасъ разсужденіе здѣсь; слышала?

— Un Marat... прошепталъ Пехледовъ, оглянувшись.

— Нынче всѣ такъ, вся мелочь, замѣтилъ князь презрительно,— получили привилегію безнаказанно ругаться.

— Надѣюсь, ты его прогонишь? сказала княгиня Катерина Александровна.

— Oui, taman, отвѣчала она тихо.

— Замѣнить его очень легко, продолжала княгиня: — двадцать человѣкъ найдутся. Ты сама увидишь пользу отъ этого. Нельзя поручиться, чтобы онъ не успѣлъ ужъ многое натолковать *твоимъ* такое... однимъ словомъ все, что онъ имѣеть дерзость говорить.

— Правда, что онъ человѣкъ ужасный, замѣтила съ

тревогой Катерина Александровна; — но, однако... Это очень-странны, его всѣ любятъ.

— Такихъ людей всегда любятъ, произнесла княгиня: — эти люди умѣютъ къ себѣ привязывать, въ томъ ихъ выгода. Это, моя милая, все равно, что укротители звѣрей...

— Je ne m'en moque pas mal, шепнулъ князь Полинѣ.

— Мы-то не должны дѣлать глупости, продолжала княгиня: — не надо давать воли мелочи этой. Пусть себѣ кричатъ, крикомъ они ничего не сдѣлаютъ, а когда увидятъ, что за свой крикъ сами останутся безъ хлѣба, то и замолчатъ. Они, пожалуй, и кричатъ, но не страшны; позволить имъ писать ихъ вздоръ, позволить имъ взятки брать, паживаться понемногу — и притихнутъ.

— Cela reviendra nous baiser les pieds, сказаль Вася...»

Изъ одной этой сцены читатели видятъ, что это за міръ, и какъ мастерски умѣеть авторъ обрисовывать эти великосвѣтскія мертвые души. Обратимся теперь къ душѣ, по взгляду автора живой, къ управляющему Нерицкому, который былъ причиною приведенной нами поучительной бесѣды.

Давно замѣчено, что положительный типъ не удается въ нашей литературѣ у писателей самыхъ талантливыхъ. Вспомните важнѣйшія лица этого рода, начиная съ Чацкаго и до Инсарова. Чего не придумывали наши романисты, чтобы показать намъ идеальную личность современ-наго человѣка въ нашемъ обществѣ. Они надѣляли его остроумiemъ, желчью и либерализмомъ, какъ Чацкаго, давали ему практическій умъ и положительное знаніе жизни, какъ Петру Ивановичу Адуеву, награждали его современ-ной ловкостью и дѣятельностью, какъ Калиновича, или силою страсти и кипучей потребностью жизни, какъ Бельтова, или любовью къ обществу и желаніемъ служить его

развитию и прогрессу, какъ Рудина. И не смотря на всѣ эти талантливые опыты, оказалось, что положительный типъ не удается намъ, что въ немъ не видать живаго человѣка, не чувствуется плоти и костей нашихъ, что при всѣхъ уси-
ліяхъ таланта изъ него выходитъ образъ безъ лица, фи-
гура безъ характера, рефлексія безъ мысли. Потерявъ на-
дежду найти положительный идеалъ въ нашемъ обществѣ,
писатели наши обратились къ иноземнымъ элементамъ, съ
какой-нибудь стороны прикосновеннымъ къ русской почвѣ
и связаннымъ какой-нибудь витью съ нашимъ обществомъ.
Придумали показывать намъ отличного помѣщика и распо-
радительного хозяина въ лицѣ грека Костанжогло, или
практическаго современаго человѣка и умнаго дѣльца въ
образѣ вѣмца Штольца, или наконецъ гражданина и пат-
ріота подъ именемъ болгара Инсарова. Недостаетъ только,
чтобъ положительный jeune premier въ нашемъ романѣ
явился наконецъ въ лицѣ какого-нибудь француза-комми
изъ перчаточнаго магазина па Невскомъ-проспектѣ, или въ
кожѣ заѣзжаго машиниста англичанина съ какой-нибудь
бумагопрядильни. И что-же?—Нашествіе этихъ двадцати
языкъ на нашу изящную литературу не принесло однако-же
намъ ни одного положительно живаго человѣка. Всѣ эти
практики и дѣльцы, переселяясь на русскую почву, изъ
дѣятелей превращались въ говорителей, да еще на языкѣ
непонятномъ русскому уму и чувству. Говорить, кто пожи-
веть въ Китаѣ, тотъ не только потеряетъ въ немъ свою
личную физіономію, но и самъ приметъ отпечатокъ китай-
ской расы. Тоже случилось и здѣсь. Самобытная почва
русской литературы не поддалась пришельцамъ, а напро-
тивъ сама подчинила ихъ себѣ, или переворачивая ихъ по-
ложительную сторону на отрицательную, или стирая съ нихъ
всѣ характерныя черты ихъ физіономіи.

В. Крестовскій такъ-же не совладалъ съ своимъ положительнымъ типомъ. Его Неряцкій вышелъ не что иное, какъ мозаическая фигура, составленная изъ образовъ, давно уже намъ знакомыхъ по другимъ нашимъ писателямъ.

Въ немъ проглядываетъ то злой обличитель общества Чацкій, то чопорный хозяинъ помѣщика Костанжогло, то наконецъ обращенный на русскій ладъ Иисаровъ. Положимъ, что изъ этихъ особенностей вышло кое-что своеобразное, но все-таки не вышло живаго, цѣльного лица, каковы старуха-княгиня, князь Иванъ Десятовъ или даже слегка очерченный Пехледовъ. Здѣсь мы видимъ живага, знакомага лица, а тамъ китайскую тѣнь, воплощенную сен-тенцию и мораль, выведенную только для того, чтобы прочитать приговоръ надъ пошлымъ обществомъ свѣтскаго круга, какъ-будто оно самыми дѣйствіями своими не произносить себѣ окончательнаго приговора.

Всматриваясь пристально въ Неряцкаго, тотчасъ-же находишь въ немъ знакомыя черты. Педантъ въ хозяйствѣ, подобно смѣшному Костанжогло, акуратный до мелочности, какъ Штольцъ, онъ замѣтно драпируетъся въ честность и суровую прямоту какого-то римскаго трибуна. Взглядите, напримѣръ, какъ онъ ведеть себя въ домѣ княгини, куда его позвали по дѣламъ и гдѣ онъ ораторствуетъ передъ людьми, которыхъ презираетъ, зная что у него нѣть съ ними ниодной общей черты, что имъ никогда не спѣтъ съ нимъ ни въ одной нотѣ. Вотъ какъ проповѣдуетъ онъ передъ гг. Десятовыми и Пехледовыми:

« — Fermez cette porte, обратилась княгиня къ Полинѣ, указывая на балконъ, и продолжала, не глядя на Неряцкаго: — нынче ужъ и мужчины что-то очень берутъ къ сердцу разныя страданія.

— Поневолѣ, возразилъ Неряцкій: — изъ терпѣнія вышли.

— За что-же это изъ терпѣнія вышли? спросила величественно княгиня: — я не вижу, чтобы кто-нибудь по дѣламъ изъ терпѣнія вышелъ. Крикуновъ много, а этимъ крикунамъ право гораздо лучше и покойнѣе, нежели тѣмъ, противъ кого они кричатъ... А за кого они кричатъ, — этого, кажется, и Богъ не знаетъ! заключила она, удостоивъ улыбнуться.

— Ваше сіательство ошибаетесь, отвѣчалъ спровойно Неряцкій: — Богъ ихъ знаетъ. Если вашему сіательству беспокойно отъ крика, то вѣдь вкусы разные: есть люди, которыхъ беспокоитъ гробовое молчаніе, особенно если въ гробахъ лежать не мертвые, а живые...

Пехлецовъ повернулся на мѣстѣ; княгиня засмѣялась.

— Какие великие люди! сказала она, приподнявъ губы къ носу еще выше и презрительнѣе, нежели обыкновенно это дѣлала: — но вѣдь это не новость, то, что вы говорите, monsieur... monsieur Неряцкій; мы это слышали.

— Oui!... il n'y a pas cent ans, проговорилъ Пехлецовъ.

— Нѣтъ-съ, около двухъ тысячъ лѣтъ, возразилъ еще спокойнѣе Неряцкій.

— Двѣ тысячи лѣтъ?... сказала вопросительно княгиня: — когда-же?

Неряцкій засмѣялся.

— Я пригласила васъ, monsieur Неряцкій, чтобы поговорить о дѣлѣ, прервала княгиня, полная оскорблennаго достоинства, — и только потому удерживала такъ долго. Пожалуйте...

— Извините, прерваль ее вдругъ Неряцкій... Заниматься вашими дѣлами я не имѣю ни времени, ни охоты. Будьте здоровы.

И не дожидалась ея отвѣта, онъ вышелъ.»

Ну, не Чапкій-ли это, проповѣдающій передъ Тугоуховскими, Загорѣцкими и Хлестовыми? И развѣ Пехлевцовъ не имѣлъ послѣ этого права назвать его Маратомъ; какъ Фамусовъ называетъ Чапкаго сумасшедшими! Тутъ не только не видать серьезно - положительного типа нашего общества, а напротивъ видѣнъ рыцарь печального образа, въ мамбровомъ шлемѣ, сражающійся со стадомъ барановъ.

Не менѣе диковинъ образомъ ведеть себя этотъ герой съ мадамъ Алексинской. Убѣдясь въ связи ея съ Жаномъ Десятовымъ, онъ письмомъ вызываетъ ея мужа въ деревню. Потомъ, когда Алексинскій узнаетъ невѣрность жены и ударъ этотъ повергаетъ его въ горячку, Нерацкій ночью съ балкона врывается въ комнату Катерины Александровны и разражается самыми грубыми выходками. Человѣкъ этотъ, презирающій свѣтъ и его блестательно-мелочныхъ барынь и понимающій вполнѣ не только пошлость Десятовыхъ, но пустоту и низость самой Алексинской, читаетъ ей рѣчь, въ которой такъ и видишь Донъ-Кихота. Мы выпишемъ часть этой любопытной сцены.

«Нерацкій вошелъ въ комнату съ балкона. Катерина Александровна вскочила въ испугѣ.

— De quel droit, monsieur... начала она, теряясь, гнѣваясь, испугавшись.

— Я видѣлъ, что вы еще не ложились, отвѣчалъ онъ, запирая дверь спальни: — а «de quel droit», это ужъ я знаю. Вы знаете, что вашъ мужъ болѣнъ? Я присыпалъ вамъ сказать, — сказали вамъ? Почему вы не пришли къ нему въ ту-же минуту?...

— По какому праву вы меня допрашиваете? возразила Катерина Александровна: — вы забываетесь! c'est une insolence, ça n'a pas de nom...

— А то, что вы сдѣлали, — какъ назвать? прерваль онъ тихо. То, что вы сдѣлали, Катерина Александровна, избавляетъ отъ учтивости съ вами. Понимаете вы это? Извольте сказать мнѣ, что вы,— а потомъ кричите, что я забываюсь».

Далѣе выходки Нерацкаго обращаются въ грубую брань.

« — Я-бы убилъ васъ, продолжаетъ онъ:— безъ малѣйшаго права я-бы убилъ васъ! Я-бы не стать, какъ этотъ несчастный, совать себѣ пистолетъ въ ротъ— какъ еще удалось его выхватить!... Не надо васъ на свѣтѣ,— не потому что вы невѣрная жена, не потому что вы *одною* оскорбили,— а потому что вы отвратительное порожденіе отвратительного общества, потому что вы мелки, развращены, потому что, погубивъ человѣка, вы пищите о томъ, что будетъ съ вами и какъ на васъ поглядѣть тамъ, въ свѣтѣ вашемъ... будь онъ проклятъ!... Слушайте, что я говорю: вамъ этого не говорили и никто не скажетъ! Вотъ — вы все тутъ: онъ умираетъ, вы романы читаете!»

Въ довершеніе своей браны, Нерацкій командуетъ еще Алексинской такимъ образомъ:

— Чтобы завтра на зарѣ вы были подлѣ мужа,— слышите ли. Не смѣйте ему плакаться надъ собою, не смѣите его огорчать!»

Мы понимаемъ неумѣстное, но простодушно гуманное обращеніе купца Муразова къ Чичикову въ острогѣ. «Ахъ, Павель Ивановичъ, что вы сдѣлали? Какъ-же можно было этакъ поступать дворянину? Ахъ, Павель Ивановичъ, какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы не видали страшнаго своего положенія... Павель Ивановичъ, успокойтесь, подучайтесь, какъ-бы примириться съ Богомъ, а не съ людьми; о бѣдной душѣ своей помыслите.» Это такой-же гласъ воопіющаго въ

пустынѣй, но онъ по крайней мѣрѣ вызванъ гуманнымъ чувствомъ любви. Мы нѣсколько понимаемъ даже и готовы извинить Чапкому совершенно ненужное воззваніе его къ Софѣ, послѣ того какъ онъ узналъ ея отношенія къ Молчалипу:

О Боже мой, кого себѣ избрали?
Когда подумаю: кого вы предпочли?

Но признаемся, мы рѣшительно не понимаемъ въ разумномъ человѣкѣ выходокъ, подобныхъ послѣднимъ рѣчамъ Неряцкаго. При всей привязанности къ Алексинскому, только одинъ Донъ-Кихотъ обличительной школы могъ такъ вести себя и ораторствовать передъ испорченной и нераскаянной женщиной. Это уже не пуританскій проповѣдникъ морали и не человѣкъ, которому въ тажелую минуту есть потребность сорвать, какъ говорится, наболѣвшее сердце: это какой-то романическій дикарь французской школы тридцатыхъ годовъ, это бальзаковскій Ронкероль изъ нелѣпой сказки *Histoire des Treize*.

Вообще, когда въ романѣ В. Крестовскаго дѣйствіе идетъ въ большомъ свѣтѣ, въ феодально-подмосковномъ салонѣ княгини Десятовой, все полно въ немъ жизни и истины; но какъ скоро на сцену выступаетъ Неряцкій или другой положительный собратъ его, Алексинскій—дѣйствіе становится придуманнымъ и даже принимаетъ иногда неестественный характеръ. Особенно это замѣтно въ концѣ романа. Мы говорили уже объ эксцентричности и ненатуральности характера Неряцкаго и объ его стравыхъ выходкахъ передъ княгинею и Алексинской. Въ другихъ сценахъ и положеніяхъ встрѣчаются такія-же несообразности. Признаніе Катерины Александровны мужу, можетъ-быть и возможное, кажется совершенно неестественнымъ въ томъ видѣ, какъ оно поставлено и развито въ романѣ. Нако-

нецъ самоубійство Алексинскаго "совершенно портить конецъ романа. Невольно подумаешь, что паши писатели, выводя положительное лицо, подъ конецъ и сами не знаютъ, что съ нимъ дѣлать, особенно когда ему приходится отъ разглагольствій перейти къ дѣятельности. Положительному герою становится при развязкѣ очень плохо: писатели по-жираютъ его, какъ Сатурнъ дѣтей своихъ. У однихъ авторовъ онъ спивается съ кругу, у другихъ пропадаетъ безъ вѣсти, а иные спѣшать даже уходить его насильственной и нечаянной смертью. Тургеневъ уморилъ своего Инсарова въ Венеції, наканунѣ того времени, какъ бѣдному болгару надобно было дѣйствовать, и мы уже подозрѣвали, не виноваты ли въ этомъ австрійские агенты. В. Крестовскій сразилъ Алексинскаго пистолетнымъ выстрѣломъ, какъ только этому герою приходилось показать, что онъ не весь поглощенъ любовью къ недостойной женщинѣ. И замѣтьте, что онъ застрѣлился въ то время, когда по собственнымъ словамъ его убѣдился, что «эта милая, игривая, очаровательная женщина — сама пустота, существо безъ сознанія, безъ совѣсти, даже безъ простой понятливости и состраданія». Конечно, онъ любилъ ее, но такихъ господъ, которые стрѣляются отъ любви, мы прогнали съ нашей литературной сцены еще во времена блаженной памяти романтизма.

Обращаемся къ художественной сторонѣ романа В. Крестовскаго.

Мы не разъ упоминали въ нашей статьѣ о «Мертвыхъ Душахъ», потому-что членіе романа г. Крестовскаго не разъ напоминало намъ поэму Гоголя. Да не подумаютъ читатели, что мы хотѣли этимъ поставить оба сочиненія на одинъ планъ въ художественномъ отношеніи. Насъ поразило умѣніе автора изображать интриги и мелочи большаго свѣта, его искусство рисовать лица изъ этого кружка въ чертахъ

живыхъ и мѣткихъ, въ образахъ иногда почти типическихъ, каковы напримѣръ княгиня Десятова или графъ Вася. Но лица эти являются въ романѣ далеко не въ такихъ поражающихъ и выпуклыхъ чертахъ, какъ у Гоголя: въ нихъ поэтическая живопись переходитъ иногда въ копировку, а мѣстами даже въ дагеротипную мелочность. Вообще художественная сторона романа В. Крестовскаго нетолько уступаетъ Гоголю, а даже Гончарову и Тургеневу. Но не смотря на это — новость среды, взятой авторомъ и такъ мало еще тронутой въ нашей литературѣ, и тонкое иронически-спокойное обращеніе его къ своему сюжету—даютъ роману Крестовскаго несравненно больше значенія, чѣмъ «Обломову» или «Наканунѣ». Мы и прежде не сомнѣвались въ талантѣ В. Крестовскаго, но въ этомъ новомъ сочиненіи онъ далеко ушелъ впередъ и обнаружилъ новыя стороны дарованія, отъ котораго можно ожидать много хорошаго въ будущемъ. Въ этомъ романѣ его мы видимъ уже не альбомный рисунокъ большаго свѣта, не эскизъ, наброшенный по слухамъ или бѣглому взгляду съ паркета бальной залы, а полную картину быта, написанную тонкой кистью опытнаго художника, вполнѣ знакомаго съ нимъ, и освѣщенную тѣмъ колоритомъ, при которомъ всѣ эти мертвые души высокаго полета являются въ настоящемъ свѣтѣ. Однимъ словомъ, въ ожиданіи лучшаго произведенія въ этомъ родѣ, романъ «Въ ожиданіи лучшаго» представляетъ замѣчательную картину нашего доморощеннаго *beau monde*, лучшую галерею портретовъ свѣтскаго круга, въ его современномъ состояніи и съ намекомъ на его будущность.

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕНЦІИ

ПРИ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Итого ради Императоръ, имперіи своей славы, народу же явственныхъ ища пользы, преблаго быти разсудилъ, аще соціететь знаменитыхъ учениемъ людей собереть, которые, какъ науки, во оныхъ упражняясь, совершили бы и умножали, такъ и юношество учаще, оныя расплодили бы и оной соціететь титуломъ Академіи Наукъ установленію сему зъю приличными украсить.

Проектъ Указа 1725 года. Ученый Зап. т. II.

Въ полемикѣ, возникшій у насъ по случаю вопроса о преобразованіи университетовъ, высказалось въ сущности два противоположныхъ мнѣнія. Одни изъ нашихъ ученыхъ полагали, что эти заведенія назначаются преимущественно для высшаго образованія юношества, хотя въ то-же время могутъ быть открыты и для постороннихъ слушателей; другие мечтали о преобразованіи университетовъ въ заведенія доступныя для всѣхъ приходящихъ, безъ всякихъ правъ на поступленіе, безъ всякой студентской корпораціи, съ уничтоженiemъ самаго званія студента, въ видѣ простыхъ пу-

бличныхъ лекцій, только расположенныхъ въ факультетской связи. Послѣднєе мнѣніе, само по себѣ крайне несосто- ятельное, наводить однакожъ на вопросъ: не нуждается ли теперь русское общество въ учрежденіи въ столицѣ публич- ныхъ лекцій, не случайно задуманныхъ, не читаемыхъ отрывочно и безсистемно, какъ это дѣлается отъ лица нѣкоторыхъ ученыхъ обществъ или по желанію част- ныхъ лицъ, но постоянныхъ, систематически обнимаю- щихъ какія-нибудь отрасли наукъ и расположенныхъ въ стройной связи и взаимной солидарности? Намъ кажется, что на этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣтить утвердительно. Самый поверхностный взглядъ показываетъ, что въ нашемъ обществѣ чувствуется потребность въ публичныхъ лекціяхъ. Всѣ ученые чтенія, какія только у насъ устраивались въ послѣдніе годы, несмотря на свою отрывочность, не всегда строгую систематичность и часто довольно-высокую плату, привлекали значительное число слушателей. Много- численность такихъ чтеній, кажется, доказываетъ, что это не мода, не мимолетное увлеченіе, не жажда одной ново- сти. По нашему мнѣнію, въ этомъ видна серьозная по- требность нашей публики въ научныхъ знаніяхъ, а вмѣстѣ- съ-тѣмъ это само-собою указываетъ на необходимость публичныхъ лекцій, правильно - организованныхъ, съ свобод- нымъ доступомъ для всѣхъ желающихъ слушать ихъ.

Если университетъ, по назначенію своему, долженъ оста- ваться высшимъ образовательнымъ заведеніемъ для учащейся молодежи и никакія публичныя чтенія не въ состояніи замѣнить въ немъ характера и духа, какой возникаетъ только въ средѣ студентской корпораціи, — то съ другой стороны заведеніе въ родѣ парижской Collége de France, съ публичными лекціями, для всѣхъ доступными и болѣе или менѣе популяризированными, будетъ учрежденіемъ чрезвычай-

ной важности, которое принесетъ большую пользу въ дѣлѣ нашего образованія. Подобныя чтенія едва-ли гдѣ-нибудь такъ необходимы, какъ въ нашей столицѣ, и особенно въ настоящее время, когда въ публикѣ чувствуется потребность въ основательномъ и свѣжемъ взглѣдѣ на разныя отрасли научныхъ знаній. У насъ, при множествѣ специальныхъ заведеній, военныхъ и статскихъ, юридическихъ и техническихъ, свѣтскихъ и духовныхъ, цѣлыя тысячи людей чувствуютъ настоятельную потребность въ томъ освѣщающемъ взглѣдѣ, который осмысливаетъ усвоенные отъ жизни и науки факты, даетъ настоящее воззрѣніе на минувшее и будущее, оживляетъ и направляетъ самыя наши знанія. Что наше общественное и частное образованіе мало-по-малу подвигается впередъ, — это не подлежитъ сомнѣнію; но оно такъ еще разнообразно, такъ неравномѣрно, исполнено такихъ контрастовъ и противорѣчій, что необходимо нуждается въ общемъ освѣщающемъ взглѣдѣ. Поговорите съ человѣкомъ, вышедшемъ изъ семинаріи, съ офицеромъ выпущеннымъ изъ корпуса, съ молодымъ купцомъ кончившимъ курсъ въ коммерческомъ училищѣ, съ дамой воспитанной въ институтѣ или дѣвицей приготовленной дома, на урокахъ приходящихъ учителей — при болѣе или менѣе значительномъ запасѣ свѣденій, какое разнообразіе въ ихъ пониманіи и какое разнорѣчіе во взглѣдахъ! Между-тѣмъ вся эта среда приготовлена къ публичнымъ лекціямъ и чувствуетъ потребность въ нихъ, а потому мы полагаемъ, что учрежденіе постоянныхъ чтеній въ столицѣ было-бы однимъ изъ величайшихъ благодѣяній для нашего общества.

Самая мысль обѣ устройствѣ въ Петербургѣ правильно-организованныхъ публичныхъ лекцій — у насъ вовсе не новая. Она принадлежитъ Петру I.

Первоначальный планъ Академіи Наукъ, составленный Петромъ, послѣ личныхъ и письменныхъ объясненій съ Лейбницемъ, давалъ вовсе не такое назначение этому заведенію, какое оно получило впослѣдствіи. Можеть-быть ни одно изъ петровскихъ учрежденій не задумано было съ такой дальновидностью въ дѣль русскаго просвѣщепія. Нуженъ-ли былъ въ русской жизни тотъ революціонный переворотъ, который совершилъ Петромъ во всѣхъ основахъ государственного быта, необходимъ-ли онъ былъ въ духѣ безусловнаго подражанія Западной Европѣ, это не касается настоящей статьи; по принимая реформу за совершившійся фактъ, мы должны согласиться, что учрежденіе Академіи Наукъ задумано вполнѣ основательно. При крутомъ поворотѣ къ новой европейской жизни, ни кievская Академія, ни московская Заиконосская Школа не могли уже конечно быть представителями просвѣщенія въ Россіи. При отсутствіи исторической подготовки къ образованію въ нашемъ обществѣ, нельзя было и думать объ открытии чисто-русской Академіи, университета, гимпазіи или публичныхъ лекцій, по той простой причинѣ, что еще негдѣ было взять ни ученыхъ, ни студентовъ, ни учениковъ, ни охотниковъ для какихъ-нибудь чтеній. Оставалось открыть такое заведеніе, которое могло-бы служить основаніемъ для всѣхъ подобныхъ учрежденій въ будущемъ. И съ этой-то цѣлью Петръ задумалъ сложный планъ Академіи, какъ заведенія ученаго и образовательнаго.

Въ проектѣ указа объ учрежденіи *Collegium Sapientiae*, составленнаго вскорѣ по смерти Петра и по его плану, вполнѣ опредѣляется это разностороннее назначеніе новаго заведенія. Вслѣдъ за вступленіемъ, гдѣ излагается мысль покойнаго императора объ учрежденіи Академіи, въ смыслѣ смѣшаннаго ученого-учебнаго заведенія, слѣдуютъ самыя

статьи, подробно опредѣляющія ея цѣль и дѣйствія. Главнымъ назначеніемъ ученыхъ членовъ Академіи постановлено было съ одной стороны «науки производить и совершать», съ другой «обучать при себѣ нѣкоторыхъ людей, которые бы и сами младыхъ людей первымъ рудиментамъ (основательствамъ) всѣхъ наукъ пока обучать могли», наконецъ «публично обучать младыхъ людей, ежели которыхъ изъ нихъ угодны будуть». Тутъ намекается уже на то, что въ составъ Академіи должны были войти и публичные чтенія. Еще яснѣе это высказывается въ 34-й статьѣ, гдѣ говорится о лицахъ, допускаемыхъ къ слушанію академическихъ профессоровъ: «И на сіи професоръ лекціи, публично отправлятися имущіе, *каждому* бывъ всякихъ своихъ иждивеній приходити свободно будетъ». Наконецъ въ 1741 году обнародовано было «Краткое изложеніе о состояніи Академіи», въ которомъ изложено положеніе академического университета и гимназии и обязанности профессоровъ. Здѣсь положеніе о публичныхъ лекціяхъ развито еще опредѣлительнѣе. «Должность и упражненіе профессоровъ, говорится въ Изложеніи, въ томъ состоить, что они обязаны по дважды въ недѣлю присутствовать въ академическихъ конференціяхъ, а по четырежды своей наукѣ публично учить». (Ученые Записки Ими. Академіи Наукъ по первому и третьему отдѣленіямъ. Томъ I и II).

Такимъ-образомъ въ Академіи Наукъ, основанной по плану Петра I, сливалось четыре учрежденія: ученое общество, имѣющее цѣлью обработку наукъ и труды по разнымъ отраслямъ знаній; университетъ, гдѣ академики были профессорами, а студенты получали стипендіи или состояли на академическомъ жалованьї, готовясь занять мѣста учителей; гимназія, въ которой преподавали академические адъюнкты и учились дѣти изъ всѣхъ сословій; наконецъ

публичныя лекціи академиковъ, открытыя для всѣхъ любознательныхъ людей.

Ученая дѣятельность Академіи и лекціи въ ея университетѣ и гимназіи начались, какъ известно, въ 1726 г. Мы не будемъ много говорить обѣ этой сторонѣ академической дѣятельности. Во время открытия этого важнаго учрежденія, въ нашемъ обществѣ не было еще никакой подготовки ни для ученыхъ, ни для учебныхъ занятій; а потому естественно, что весь кружокъ академиковъ въ первое время необходимо долженъ былъ сложиться изъ однихъ иностранцевъ. Ясно, что ни кіевская Академія, ни Славяно-греко-латинскія школы не могли дать своихъ ученыхъ для той новой научной дѣятельности, къ какой предназначалась петербургская Академія. Нѣмцы-ученые вербовались поестественному за-границею точно также, какъ нѣмцы-офицеры и нѣмцы-чиновники: чего ждали отъ Бауровъ и Миниховъ въ военномъ дѣлѣ, того-же надѣялись для просвѣщенія отъ Блументростовъ, Эйлеровъ, Бульфингеровъ, Шлецеровъ. Иностранцы должны были образовать только кадры науки, какъ они образовали и кадры петровской арміи. Но правительство до Бирона вовсе не думало дѣлать изъ Академіи Наукъ привилегированной аренды для наѣзжихъ нѣмцевъ, а очевидно имѣло въ виду пользу русскаго общества. Въ томъ-же указѣ 1725 года, во 2-й статьѣ, говорится: «Дабы равно чужестранныя, яко и наши подданныя къ раченію ученія вящше воспалялися, мы особливую свою милость и тѣмъ, которые въ сей Академіи учившеся виды своихъ ученій покажутъ, обѣщаемъ и паче всѣхъ прочихъ въ публичныя достоинства производить ихъ повелимъ, а особенно наши подданныя...» Но наука не создается по часамъ, не принимается по указамъ и командамъ; русскіе ученые не могли скороспѣлками выrosti

изъ почвы вовсе къ тому не приготовленной, и понятно, что первые академики были всѣ иностранцы, и даже между студентами академического университета было много младыхъ нѣмцевъ, наѣхавшихъ изъ-за границы.

Что касается академической гимназіи, то съ самаго основанія въ нее вошло, кроме иностранцевъ, много и русскихъ дѣтей изъ всѣхъ сословій. Въ спискѣ учениковъ гимназіи, съ 1726 по 1731 годъ, напечатанномъ въ III томѣ «Записокъ Академіи», мы видимъ, что въ ней были ученики отъ 5 до 20 лѣтъ, изъ семействъ разныхъ званій—дѣти графовъ и адмираловъ, генераловъ и отставныхъ солдатъ, священниковъ и дьяконовъ, купцовъ и ремесленниковъ, крестьянъ и казаковъ. Рядомъ съ дворянскимъ сыномъ сидѣлъ и его крѣпостной мальчикъ. Этотъ широкій доступъ въ гимназію, а оттуда и въ университетъ, показываетъ, что у насъ съ самого начала этого учрежденія заботились ввести скорѣе русскій элементъ въ нѣмецкое ядро Академіи. Посылка русскихъ студентовъ за границу, въ парижскій и германскіе университеты, еще болѣе доказывала желаніе сдѣлать Академію заведеніемъ русскимъ. И цѣль эта начала достигаться даже скорѣе, чѣмъ можно-бы ожидать. Не смотря на то, что еще первый президентъ Блументростъ успѣлъ исказить первоначальный планъ, составленный по идеямъ Лейбница, не смотря на то, что въ президентство Корфа совсѣмъ было забыто постановленіе Петра о томъ, что «Академія должна сама себя править», и на-мѣсто-того явилась *академическая команда*,—однако учебная дѣятельность Академіи была не совсѣмъ безплодна для Россіи. Въ тяжелую эпоху самаго усиленного преобладанія нѣмецкой партии, при императрицѣ Аннѣ и Биронѣ, въ число академиковъ вошло уже нѣсколько молодыхъ русскихъ, которые въ скоромъ времени заявили свою дѣятельность

разными учеными трудами и особенно преподаваніемъ въ академическомъ упиверситетѣ, и русскій элементъ началъ замѣтно усиливаться, особенно въ то время, когда учебныя заведенія стояли подъ командой Ломоносова.

Здѣсь не мѣсто распространяться о томъ, какъ съ одной стороны успѣхи образованія, а съ другой обнаруженные ходомъ дѣлъ недостатки Академіи вызывали время отъ времени различная измѣненія и преобразованія въ ея устройствѣ. Когда по идеѣ Ломоносова былъ открытъ упиверситетъ въ Москвѣ, гдѣ очевидно легче было придать высшему заведенію болѣе русскій характеръ, хотя и на тѣхъ-же европейскихъ началахъ, съ того времени существованіе полуѣвропейскаго академического упиверситета въ Петербургѣ сдѣлалось безполезнымъ, и онъ былъ закрытъ въ 1766 году. Съ началомъ настоящаго столѣтія дѣятельность Академіи еще болѣе измѣнилась: съ причисленіемъ ея къ министерству народнаго просвѣщенія и учрежденіемъ губернскихъ гимназій, прежняя академическая гимназія была признана не нужна и уроки въ ней съ 1803 года совсѣмъ прекратились. Разбирая теперь учебную дѣятельность Академіи въ ея упиверситетѣ и гимназіи, должно сказать, что при всей ея ограниченности и несовершенствѣ она была не совсѣмъ безполезна: заведенія эти были первой реакцией противъ старой сколастики духовныхъ школъ, первымъ питомникомъ европейской науки въ Россіи.

Но въ какой степени Академія удовлетворила мысли Петра I о публичныхъ лекціяхъ? Какъ выполнила она его назначеніе «публично обучать младыхъ людей, ежели ко-торые изъ нихъ угодны будуть»? Въ чёмъ состояли эти лекціи, «публично отправлятися имущіе, куда каждому безъ всякихъ своихъ изждивеній приходити свободно будетъ»?

Мы знаемъ, что всѣ идеи, положенные Петромъ въ

основаніе Академії, хотя въ нѣкоторой степени осуществились: ученое назначеніе ея, пройдя съ теченіемъ времени черезъ нѣсколько различныхъ фазисовъ, и до-сихъ-поръ проявляетъ свою дѣятельность трудами, въ которыхъ есть несомнѣнно научная польза; академической университетъ, при носредствѣ Ломоносова и другихъ русскихъ профессоровъ, пе смотря на ученую недѣятельность нѣмцевъ, породилъ нѣсколько другихъ русскихъ университетовъ, оказавшихъ неисчислимыя услуги въ дѣлѣ отечественнаго образованія; наконецъ гимназія академическая послужила основнымъ камнемъ губернскихъ гимназій. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ ученые нѣмцы, прѣѣзжавшіе въ Россію такъ-же, какъ ъѣздили другіе нѣмцы на службу къ Мехмету-Али, въ Типпо-Саибу, въ Тегеранъ, въ Шулково, безъ особенной любви къ странѣ и народу, съ одной цѣлью получать жалованье и добиваться отличій,— не успѣли совершенно исказить мысли Петра I и невольно что-нибудь сдѣлали. Но что-же сталоось съ публичными лекціями Академіи, съ этою русской Collége de France, которая по проекту Петра должна была составлять одинъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ Академіи Наукъ?

Къ сожалѣнію дѣятельность Академіи въ этомъ отношеніи была очень пезначительна, и что еще печальнѣе— съ теченіемъ времени совершенно прекратилась. Конечно первоначальный составъ Академіи, цѣликомъ сформированной изъ однихъ иностранцевъ, служилъ уже препятствіемъ къ осуществленію мысли ея основателя. Что могли читать для петербургскихъ жителей нѣмецкіе, французскіе, итальянскіе ученые въ то время, когда знаніе иностраннныхъ языковъ только-что начинало распространяться между русскими, да и то въ одномъ высшемъ обществѣ, которое менѣе всего могло показать симпатіи къ ученымъ чтеніямъ? Какое

участіе могли возбудить въ русской публикѣ средняго класса публичныя лекції на чужомъ языке, и кого могли онѣ привлекать въ залы Академіи? Понятно, что привести въ исполненіе эту часть академического устава нельзя было такъ скоро, какъ другія его стороны. Организовать эти публичныя чтенія невозможно было сть такою-же быстротою, какъ построить Ледяной-домъ на Невѣ или заказать академикамъ сочинить аллегорическую иллюминацію на какой-нибудь торжественный день. И дѣйствительно, въ первое десятилѣтіе дѣятельности Академіи большая часть профессоровъ, кажется, совсѣмъ не читала публичныхъ лекцій, и конечно мы не можемъ строго обвинять въ томъ ученыхъ немцевъ, которые приѣзжали и уѣзжали изъ Россіи, не зная ни слова по-русски и питая презрѣніе ко всѣмъ русскимъ книгамъ, кроме той, где они расписывались въ полученіи жалованья. Но несмотря на это, мысль Петра I не была совсѣмъ оставлена: публичныя лекції все-таки открылись, хотя и не на русскомъ языке.

Въ сороковыхъ годахъ прошлаго вѣка профессора и адъюнкты читали уже публично по разнымъ предметамъ, вызывая черезъ отдѣльные объявленія «охотниковъ», а паче учиться желающихъ». Вотъ важнейшія изъ этихъ лекцій. Адъюнктъ Академіи Христіанъ Крузій «читалъ ораторію по правиламъ Цыцероновымъ въ книгахъ его реторическихъ къ Гереннію и толковалъ для показанія примѣра ораціи Цыцероповы». Адъюнктъ Христофъ Геллертъ «толковалъ логику и метафизику Вольфову порядкомъ Тимміговымъ публично». Докторъ медицины и профессоръ физіологіи Йосиасъ Вейбрехтъ «въ публичныхъ своихъ лекціяхъ толковалъ физіологію и нужныя къ тому эксперименты анатомическо - физические показывалъ». Профессоръ Георгъ Крафтъ по два раза въ недѣлю читалъ «охотникамъ до

физической науки» лекции изъ физики о движении и воздухъ и публично показывалъ *физические эксперименты и курьозные штуки* въ экспериментальной палатѣ». Всѣ эти чтенія и толкованія происходили па нѣмецкомъ языке. По тѣмъ материаламъ, которые упакъ подъ рукою, мы не можемъ опредѣлить, что это были за лекціи и опыты, много-ли они привлекали слушателей и приносили пользы; но Академія постоянно извѣщала о нихъ въ вѣдомостяхъ, а иногда и отдельными афишами. Кажется, при этихъ первыхъ опытахъ открытыхъ чтеній, имѣли въ виду не столько учить, сколько забавлять публику, и едва-ли тѣмъ не ограничивались публичная занятія нѣмецкихъ академиковъ по отдѣленію физико-математическому. Но какъ-бы ни было, важно то, что цѣль Петра начала такимъ-образомъ осуществляться, и вскорѣ послѣ физическихъ кунштиковъ Георга Крафта въ Академіи открылись лекціи и па русскомъ языке.

Первый примѣръ чтенія такихъ русскихъ публичныхъ лекцій поданъ былъ, кажется, Ломоносовымъ въ 1750 году. Въ программѣ своихъ публичныхъ чтеній изъ *натуральной философіи* или физики, которая начались въ этотъ годъ съ 30-го іюня, Ломоносовъ пишетъ слѣдующее: «Императорской Академіи Наукъ здѣсь присутствующіе члены по узаконенію премудраго ея основателя Петра Великаго, кромѣ обыкновенныхъ трудовъ, которые отъ нихъ полагаются на изысканіе новыхъ приращеній въ высокихъ наукахъ, должны трудиться въ наставлениі молодыхъ людей. По сему узаконенію они въ сей должности хотя и упражняются, однако ихъ ученія по сіе время предлагались на чужихъ языкахъ, и такъ купно и физические опыты въ Академіи Наукъ на россійскомъ языке никогда толкованы не были.» Итакъ черезъ двадцать четыре года послѣ ос-

нованія Академіи начались лекції и на русскомъ языке. Даље въ этой-же самой програмѣ говорится: «Но какъ уже въ академическое собрание нѣкоторые россійскіе профессоры вступили, то по указу правительствующаго сената Академіи Наукъ президентъ, ея императорскаго величества дѣйствительный камергеръ и кавалеръ, графъ Кирила Григорьевичъ Разумовскій опредѣлилъ, чтобы тоя-же Академіи членъ и профессоръ, господинъ Ломоносовъ показывалъ публично физические опыты по сокращенной Волфіанской Экспериментальной Физикѣ, и онъ-же толковалъ на россійскомъ языке, которые за помощю Божію начнетъ онъ въ Академіи Наукъ въ физическихъ камерахъ, сего юна 30 дня, по полудни въ началѣ третьяго часа, и будетъ онъ показывать по дважды въ недѣлю, по вторникамъ и пятницамъ, по два часа на день. Того ради Императорская Академія Наукъ желающихъ учиться натуральной Философіи на помянутые опыты призываєтъ, ничего иного отъ нихъ не желая, какъ только постолнаго слушанія» (Сочин. Ломоносова, т. I, стр. 806—807). И послѣ этихъ лекцій Ломоносова, въ Академическихъ Вѣдомостяхъ довольно часто повторялись подобныя же приглашенія на публичные чтенія многихъ профессоровъ и адъюнктовъ. Ясно, что мысль Петра I объ этомъ учрежденіи начинала мало-по-малу проявляться на дѣлѣ.

При Екатеринѣ II, во время президентства въ Академіи Наукъ княгини Е. Р. Дашковой, публичныя лекціи на русскомъ языке продолжались непрерывно каждое лѣто и повидимому начинали уже находить сочувствіе въ обществѣ и привлекать слушателей не одними любопытными опытами. Сама княгиня, кажется, вполнѣ понимала важность этого учрежденія и заботилась о его развитіи, увеличивая число предметовъ публичныхъ лекцій. Вотъ что

говорить она въ своихъ запискахъ: « Я нашла возможность открыть три новыхъ каѳедры—математическую, геометрическую и естественной исторіи—для всѣхъ, желающихъ посѣщать лекціи, читанныя на русскомъ языке. Я часто сама слушала ихъ и съ радостью убѣдилась въ томъ, что это учрежденіе принесло большую пользу». За лекціи эти, какъ видно изъ тѣхъ-же записокъ, профессора получали вѣкоторое вознагражденіе изъ экономическихъ суммъ Академіи, по окончаніи курса. Но это было, кажется, послѣднее время публичныхъ чтеній, и съ преобразованіемъ Академіи въ 1803 году, онъ прекратились окончательно.

Такимъ-образомъ мы видимъ, что по основному плану петербургской Академіи Наукъ, составленному по волѣ Петра I, при этомъ учепомъ заведеніи учреждалось что-то подобное парижской Collége de France, и что самыя публичныя лекціи существовали въ немъ въ продолженіе почти всей половины прошлаго столѣтія, сначала па языкахъ иностраннныхъ, а потомъ, съ замѣщеніемъ нѣкоторыхъ каѳедръ русскими учеными, и на языкѣ отечественномъ, при чемъ дѣлались и объяснялись физические опыты. Въ какой степени важна была самая мысль объ устройствѣ постоянныхъ публичныхъ чтеній и какъ благодѣтельно должны были они дѣйствовать на общество, если-бы предпріятіе это вполнѣ созрѣло,—въ наше время понятно всякому, кто только вдумывался въ ходъ нашего образованія. Но если это дѣло не вполнѣ осуществилось и не принесло настоящихъ плодовъ, то по нашему мнѣнію въ этомъ нельзя обвинять ни Петра Великаго, ни русское общество прошлаго вѣка. Поставляя въ обязанность академикамъ читать публичныя лекціи и въ то-же время набирая за-границею иностраннныхъ ученыхъ, совсѣмъ не знакомыхъ съ русскимъ языкомъ, Петръ конечно долженъ былъ понимать, что

учреждение это не можетъ осуществиться въ короткое время, что эти чтенія на чужихъ языкахъ не въ-состояніи привлечь много слушателей и принести какую-нибудь прямую пользу; но онъ безъ сомнѣнія полагалъ, что первыя публичныя лекціи нужны только какъ основаніе учрежденія, отъ котораго, съ постепеннымъ приливомъ русскаго элемента въ Академію, можно будетъ ожидать впослѣдствіи самыхъ выгодныхъ результатовъ. Точно также въ упадкѣ и совершенному уничтоженіи академическихъ лекцій нельзя видѣть и наше общество: любовь къ наукѣ не передается мгновенно цѣльымъ массамъ и не возбуждается привозами или приманками, а растетъ и зреетъ постепенно, при постоянномъ и стройномъ развитіи общественного образованія.

Какъ-бы то ни было, но публичныя академическія чтенія, едва только начали получать нѣкоторый смыслъ и возбуждать сочувствіе въ публикѣ, были отмѣнены и наконецъ совсѣмъ забыты и въ самомъ обществѣ. Главной причиной несостоятельности этого учрежденія было кажется то, что составъ Академіи слишкомъ медленно пополнялся русскими элементами, и она продолжала отличаться преимущественно нѣмецкимъ характеромъ, не столько отъ недостатка у насъ собственныхъ ученыхъ, сколько оттого, что въ этомъ замкнутомъ иноземномъ воеводствѣ, на которомъ наслѣдственно кормились разные выходцы, русскій умъ встрѣчалъ оппозицію. Съ другой стороны, академическая «команда» и люди бывшіе въ главѣ Академіи все болѣе и болѣе отступали отъ основной мысли Петра, или по своей ограниченности, или по апатіи; а явившіяся изрѣдка свѣтлыя личности не въ силахъ были бороться съ интригой нѣмецкой партіи, понимавшей очень-хорошо, что съ развитіемъ академическихъ публичныхъ лекцій русскіе ученые

рано или поздно восторжествуютъ надъ иноземной корпорацией.

Дѣятельность Академіи Наукъ между тѣмъ не оправдывала ожиданій правительства, и оно время отъ времени прибѣгало къ различнымъ реформамъ въ ея устройствѣ. Регламентъ 1747 года, пересмотръ Устава при Екатеринѣ II, окончательное преобразованіе Академіи и причисленіе ея къ министерству народнаго просвѣщенія въ 1803 году, и наконецъ присоединеніе къ ней Россійской Академіи въ 1841 году — были вызваны тѣмъ, что это ученое учрежденіе не достигало своей цѣли, продолжалъ быть какой-то арендой для иностранцевъ ученаго цѣха. Къ сожалѣнію при всѣхъ этихъ многочисленныхъ реформахъ совершенно опускались изъ виду публичныя лекціи, задуманныя Петромъ, и напослѣдокъ мало-по-малу онъ были и совсѣмъ забыты. Но оставляя въ сторонѣ то, что это прекрасное учрежденіе по непониманію и эгоизму было представлено въ глазахъ правительства, какъ безполезное и несовременное, и наконецъ уничтожено прежде, чѣмъ ему дали развиться и созрѣть, мы желаемъ только предложить вопросъ: не пора-ли вспомнить объ этомъ старомъ учрежденіи, не пора-ли при усиливающемся развитіи нашего образования взглянуть внимательнѣе и яснѣе на мысль Петра I о публичныхъ чтеніяхъ при Академіи Наукъ?

Всякій понимаетъ конечно, что Академія, какъ учрежденіе по-преимуществу ученое, не могла и не должна быть въ тоже время заведеніемъ учебнымъ и воспитательнымъ, заключать въ себѣ и университетъ, и гимназію. Вопросъ о невозможности и ненужности такого раздробленія ея дѣятельности давно уже решенъ окончательно. Но сколько мы понимаемъ, постоянная публичная лекція при Академіи уничтожились вовсе не потому, чтобы онъ не соот-

вътствовали назначенію заведенія, но только вслѣдствіе того, что неблагопріятныя обстоятельства не дали имъ утвердиться, показать всю свою пользу и дать видные плоды,—а ученые мужи, или неспособные къ такому нетеоретическому занятію, или предпочитавшіе ему ученый сонъ, успѣли внушиТЬ кому слѣдовало мысль, будто подобныя чтенія не согласны съ назначеніемъ академиковъ и отвлекаютъ ихъ отъ великаго служенія наукъ на казенныхъ квартирахъ. Намъ кажется, что настало время взглянуть на этотъ предметъ не съ точки зрѣнія человѣка, которому онъ можетъ помѣшать покойться въ пріятномъ ничего-недѣланѣ, а въ однихъ видахъ общественной пользы.

Что публика наша созрѣла для публичныхъ лекцій и чувствуетъ въ нихъ потребность, это—какъ мы уже говорили — теперь ясно доказывается открытыми чтеніями, которыхъ съ каждымъ годомъ привлекаютъ все болѣе многочисленную публику. Не говоря уже о чтеніяхъ нашихъ замѣчательныхъ ученыхъ, даже лекціи весьма посредственныя по составу, исполненію и по предметамъ далеко не общедоступнымъ привлекаютъ всегда не мало слушателей. Не пора-ли послѣ этого подумать памъ о лекціяхъ постоянныхъ и при томъ самомъ заведеніи, гдѣ онѣ были обязательно учреждены его основателемъ и читались уже въ продолженіе цѣлаго полстолѣтія. Кажется, время для этого настало. Мы съ своей стороны думаемъ, что еслибы въ настоящій академический уставъ снова введена была основная мысль Петра I, и еслибы по примѣру Ломоносова наши академики открыли постоянныя лекціи по разнымъ отдѣленіямъ,—то залы Академіи Наукъ въ настоящее время привлекли бы многочисленную публику, и эта Русская Коллегія принесла бы нашему обществу никакъ не менѣе пользы, чѣмъ всѣ многотрудные подвиги нашей Академіи въ дѣлѣ науки.

Но можетъ-быть иные спросятъ при этомъ: не отвлечутъ-ли такія членія нашихъ академиковъ отъ ихъ чистоученой дѣятельности и не пострадаетъ-ли оттого сама наука, ввѣренная имъ попечительнымъ заботамъ? Кто знакомъ съ дѣятельностью нашей Академіи, тотъ при всемъ уваженіи къ ней сознается безпредвзятно, что труды ея членовъ не поглощаютъ всего ихъ времени и не отличаются тѣми громадными размѣрами, которые не позволяли-бы удѣлить часъ или два въ недѣлю на чтеніе публичныхъ лекцій. Не говоря о степени важности этихъ трудовъ, можно только замѣтить, что они постоянно и удачно совмѣщались съ разнаго рода казеннюю службою въ мѣстахъ, имѣющихъ не совсѣмъ прямое отпошеніе къ ученымъ занятіямъ. Ломопосовъ не менѣе нашихъ современныхъ знаменитостей сдѣлалъ для науки, по онъ читалъ-же публичныя лекціи, и опѣ не мѣшали ему писать и ученыя трактаты, и разнообразные проекты, не говоря уже о его запятіяхъ поэзію. Кто служить обществу, живетъ въ немъ не чужеяднымъ растеніемъ, а живымъ членомъ пароднаго организма, тотъ при самыхъ разнообразныхъ трудахъ не откажется удѣлить нѣсколько свободныхъ минутъ па его пользу. Мы увѣрены, что многие изъ нашихъ академиковъ безъ затрудненія нашли-бы свободные часы отъ своихъ ученыхъ трудовъ и съ удовольствіемъ пожелали-бы быть полезными. Въ настоящемъ составѣ Академіи не мало достойныхъ людей, которые немедленно воспользуются подобнымъ учрежденіемъ и съ любовью примутся за лекціи; а если кому-нибудь подобный трудъ окажется не по силамъ или не понравится среди научной обломовщины, то общественное мнѣніе скоро освѣжитъ эти поросшія плѣсенью мѣста, сдуетъ пыль, вывѣтритъ гниль, и на нихъ явятся люди съ полной готовностью къ общеполезному дѣлу. И повторяемъ,

что на этомъ поприщѣ Академія принесла-бы не меньше пользы, чѣмъ по тѣмъ трудамъ, съ которыми мы знакомимся изъ ея годовыхъ отчетовъ.

Подобныя чтенія, принося очевидную пользу той части публики, которая нуждается въ популярныхъ знаніяхъ, но не приготовлена къ университетскому курсу или почему-нибудь не можетъ имъ воспользоваться, въ то-же время пріобрѣтутъ уваженіе въ обществѣ къ самой Академіи Наукъ, сдѣлаютъ ее несравненно популярнѣе и обратятъ большее вниманіе на самые ея ученыe труды. Потребность въ новомъ преобразованіи Академіи чувствуется теперь всѣми просвѣщенными людьми, и мы полагаемъ, что возобновленіе мысли Петра I о постоянныхъ публичныхъ чтеніяхъ при этомъ заведеніи было-бы важнѣйшимъ актомъ этого преобразованія, полезнымъ для науки и общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ доло-бы раціональное разрѣшеніе вопросу о публичныхъ лекціяхъ. Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, оставляя университетъ чѣмъ онъ былъ и долженъ быть, съ его студентами и вольными слушателями, въ то-же время есть возможность, приведя въ исполненіе мысль Петра Великаго, устроить въ Петербургѣ безъ всякихъ издержекъ заведеніе въ родѣ Collége de France, которое послужитъ живой связью Академіи Наукъ съ обществомъ, оживитъ ея собственную дѣятельность и наконецъ удовлетворитъ одной изъ насущныхъ потребностей нашего современного общества.

ПРЕСТУПНИКИ И НЕСЧАСТНЫЕ.

(«Записки изъ Мертваго Дома» Ф. Достоевского).

~~~~~

Кому не случалось видѣть на большой дорогѣ или даже на городскихъ улицахъ толпы людей, въ сѣрыхъ курткахъ и шенеляхъ, съ бритыми головами, которые въ сопровождении конвойныхъ солдатъ и повозокъ бредутъ, тяжело передвигая скованныя ноги? Кто не знаетъ, что эти сѣрыя толпы постоянно направляются къ востоку и почти никогда не возвращаются въ обратномъ направлениі? Кто не слыхалъ, что это преступники или, какъ говорить нашъ народъ, несчастные, наказанные закономъ, которые, простясь съ родиной, могилами отцовъ и колыбелями дѣтей, идутъ въ Сибирь, гдѣ однихъ ждетъ новая трудовая жизнь, а другихъ каторжная работа, болѣе или менѣе продолжительная! Все это намъ хорошо известно.

Но многіе-ли знаютъ отчетливо, что это за преступники или несчастные, какія совершили они преступленія и при какихъ обстоятельствахъ, что такое эта каторга и какая въ ней ожидаетъ ихъ жизнь? Вѣроятно, при этой

мысли мы отвѣтимъ, что каторжные не что иное, какъ убийцы и разбойники, осужденные на дальнее поселеніе или на работы въ сибирскихъ рудникахъ. Вотъ все, что извѣстно объ этомъ большинству нашей публики. Да откуда же намъ и узнать это подробнѣе и яснѣе? Толпы каторжныхъ, постоянно двигаясь на востокъ, остаются за Ураломъ, и рѣдко кто возвращается изъ-за этой каменной стѣны. Свободные люди, уѣзжающіе въ Сибирь на службу или по промысламъ, если и встрѣчаются поселенцевъ, освобожденныхъ изъ каторги, то узнаютъ отъ нихъ очень немногое, потому-что эти люди не охотно говорятъ о своихъ минувшихъ несчастіяхъ или не знаютъ, что именно сказать и на что указать.

Еще жизнь уволенныхъ отъ работы поселенцевъ доступна для посторонняго наблюдателя, и мы встрѣчали въ нашей литературѣ очерки этого быта, нерѣдко довольно вѣрные и полные. Но самая каторга, ея жизнь и нравы, составъ ея страшного общества—оставались для насъ рѣшительно недоступною *terra incognita*. До-сихъ-поръ у насъ не было Данта, который самъ спустился бы въ эти вертепы преступленія и страданій, приглядѣлся къ страшнымъ сценамъ этого чистилища и ада, изучилъ нравы и бытъ этихъ непогребенныхъ мертвцевъ и передалъ намъ все это въ полной и живописной картинѣ.

Первымъ сочиненіемъ по этому предмету дарить нашу литературу Ф. М. Достоевскій, въ своихъ «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Съ первыхъ страницъ его книги вы входите въ міръ совершенно новый и неизвѣстный, слѣдите за раскацикомъ съ напряженнымъ любопытствомъ и участіемъ. Это одно изъ такихъ сочиненій, которыя приковываютъ ваше вниманіе поразительной свѣжестью впечатлѣнія, точно книга какого-нибудь Ливингстона, сообща-

ющаго открытия въ незнакомомъ и любопытномъ мірѣ, съ тою разницею, что англійскій путешественникъ разсказываетъ о странахъ, хотя до-сихъ-поръ таинственныхъ, но все-же несовсѣмъ недоступныхъ, между-тѣмъ какъ авторъ «Мертваго Дома» знакомить насъ съ другимъ, можно сказать загробнымъ свѣтомъ, въ который не ступала нога писателя или изъ котораго она еще не выходила.

Картина Мертваго Дома, или каторжнаго острога, въ который вводить насъ Достоевскій, поразительна своей новостью и страшной правдою.

Съ самыхъ далекихъ временъ народная фантазія или воображеніе поэтовъ представляли памъ адъ, какъ мѣсто вѣчной казни, на которую обрекаетъ небесное правосудіе за преступленія и злодѣйства. Вспомните тартаръ древнихъ грековъ, окруженный пламеннымъ Флегетономъ, гдѣ Танталъ изнываетъ въ неутолимой жаждѣ, Сизифъ вѣчно катитъ на гору свой камень и Данайды осуждены на страшно-бездѣлочный трудъ наливать бездонную бочку. Вспомните адъ Данта, съ его безконечными изгибами, гдѣ преступники закованы въ никогда не тающіе льды, захлебываются въ удушливо-смрадномъ болотѣ и гдѣ Уголино вѣчно вгрызается окровавленными зубами въ черепъ Руджіеро. Вспомните наконецъ хаотическій адъ Байрона, на блуждающей кометѣ, полный мусъ въ одномъ существованіи безъ свѣта и жизни, безъ страстей и даже страданій, въ одной призрачной и томительной безличности. Передъ этими страшными картинами вы останавливаетесь съ трепетомъ и жалостью, съ негодованіемъ на порокъ и укоризною на жестокость суда.

Такіе-же чувства пробудили въ насъ и «Записки изъ Мертваго Дома». По мѣрѣ чтенія, намъ казалось, что Достоевскій, точно Виргилій, ведетъ насъ въ какой-то

страшний міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастический, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія-же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасные, что это не вымыселъ поэта, а голая правда.

Какъ при входѣ въ дантова ада вы встрѣчаете страшную надпись: *lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*, такъ и здѣсь съ первымъ шагомъ въ каторжный острогъ авторъ говоритъ вамъ: «надобно полагать, что нѣтъ такого преступленія, которое бы не имѣло здѣсь своего представителя». И посмотрите, какая мрачная картина открывается вамъ за осторожнымъ частоколомъ, среди этого отверженного общества. Какъ въ изворотахъ дантова ада, въ Мертвомъ Домѣ три отдѣла: первый слой составляютъ каторжные военного разряда, не лишенные правъ состоянія и присланные на короткіе сроки въ чистилище, изъ котораго они выходятъ въ сибирскіе батальоны; ко второму припадлежать ссылко-каторжные разряда гражданскаго, присыпаемые на сроки отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, послѣ чего они обращаются въ поселенцы по волостямъ, гдѣ иныхъ ждетъ можетъ-быть и спокойная жизнь. Наконецъ въ послѣднемъ слоѣ этого ада есть особое отдѣленіе, называемое «всегдашимъ», куда поступаютъ преступники, обреченные на бессрочные работы и называющіе себя *спичными*. Всѣ живутъ въ общихъ казармахъ — и разбойники по натурѣ, и убийцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодѣи изъ фанатизма, и несчастные, которыхъ натолкнуль на преступленіе случай, и страдальцы виновные только въ несходствѣ своего образа мыслей съ убѣжденіями общественной силы и власти. Все это лица мрачны, почти всегда молчаливы, въ отверженномъ костюмѣ: у однихъ половина куртки темнобурая, а половина сѣрая, у другихъ вся куртка сѣрая, а рукава темнобурье. Днемъ шумъ,

гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ цѣпей, чадъ и копоть, бритыя головы, клейменыя лица, лоскутныя платья; ночью сонный говоръ и бредъ, въ которомъ слышатся воровскія слова, ножи, топоры. Отвращеніе и ненависть къ работѣ, воровство, шпіонство и доносы, безпрестанныя наказанія, контрабандная торговля виномъ, ростовщичество — «вотъ узы страшнаго семейства». И какая жизнь: постель на трехъ доскахъ грязныхъ наръ, щи съ огромнымъ количествомъ таракановъ, по ночамъ азардныя игры, иногда пьяный арестантъ въ одинъ праздникъ пропивающій деньги, накопленные въ цѣлые мѣсяцы, и въ этой толпѣ изъ двухсотъ-пятидесяти человѣкъ пришлицы со всѣхъ концовъ Россіи, раскольники, поляки, черкесы, татары, — въ буквальномъ смыслѣ самая разнородная смѣсь

Племенъ, варѣчай, состояній!

Не правда-ли, что эта картина ничѣмъ не уступаетъ страшной картинѣ ада, созданной Дантомъ? Не кажется ли она даже вымысломъ мрачной фантазіи, порожденiemъ ужаснаго настроенія духа, въ которомъ поэтъ хотѣлъ нарисовать намъ самыя страшныя картины нечеловѣчески-уродливой жизни? И не становится-ли еще ужаснѣе эта картина, когда мы знаемъ, что она не въ глубинѣ преисподней, а на поверхности земли, въ нашемъ божьемъ мірѣ, освѣщенномъ солнцемъ, наполненномъ благоуханіемъ цвѣтовъ; что это не безтѣлесныя тѣни отжившихъ, а живые люди съ плотью и кровью, которые хоть и умерли нравственно, но еще живутъ тѣломъ, головою и даже сердцемъ? Не поучительно-ли заглянуть въ печальный міръ этихъ людей, оторванныхъ отъ общества преступленіемъ, совершеннымъ подъ различными психическими условіями, при различії темперамента, воспитанія, жизненной обстановки, нравственныхъ началъ или противорѣчія съ общественными

законами? Не любопытно-ли всмотреться въ это общество, сведенное и поддерживаемое въ принужденной работѣ, составленное изъ существъ съ исключительными страстями и надеждами? И Достоевскій представляетъ памъ рядъ портретовъ, чрезвычайно разнообразныхъ и типичныхъ.

Вотъ страшный разбойникъ Газинъ, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ «особое отдѣленіе». Про него рассказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его, и насладившись вполнѣ трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убийствахъ. Пройдя сквозь строй половины назначенного числа налокъ, онъ возвращается съ опухлой спиной кроваво-синяго цвѣта и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. «Выхожу остатальное число ударовъ, говорить онъ товарищамъ, и тотчасъ-же отправлять въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непремѣнно бѣгу, только бы спина зажила!»! Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичекъ изъ старообрядцевъ-вѣтковцевъ, сосланный за поджегъ построенной правителствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который дотого не взлюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убийства выйти изъ нея въ безсрочную каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣлялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на большой дорогѣ — и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди дантова ада.

Безъ-сомнѣнія все это преступники, болѣе или менѣе уклонившіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и

никакие современные законы не оставили бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя можетъ-быть и не новые, но однакожъ и далеко не решенные.

При первомъ взглѣдѣ на страшную картину острога, вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человѣкъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоестественное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій пародъ такъ гуманно даетъ ссылочнымъ знаменательное название несчастныхъ? Авторъ решаетъ этотъ вопросъ живучестью человѣка, говоря, что это — существо ко всему привыкающее. И читая Записки г. Достоевскаго, дѣйствительно готовъ согласиться съ этимъ остроумнымъ опредѣленіемъ. Даѣшь вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну мѣрку, и законъ равно неумолимо долженъ карать безчеловѣчнаго Газина и наивнаго Акима Акимыча, ужаснаго разбойника Орлова и несчастнаго Алея? Если правосудіе представляютъ намъ слѣпымъ, то неужели оно должно оставаться и глухимъ въ голосу человѣческаго сердца, къ вопиющимъ правамъ справедливости! Въ каторжномъ быту, по степени преступлений, есть и градации въ наказаніяхъ, но всѣ онѣ основаны не на различіи работъ или помѣщенія, а только на одномъ неравенствѣ срока каторжной ссылки. Не ужаснѣе-ли это дантова ада? Тамъ Франческа Римини не брошена въ одну ледяную пропасть съ свирѣпымъ Руджiero, тамъ поэтъ Гораций и гражданинъ Катонъ не скованы вмѣстѣ съ отцеубійцами; а здѣсь страшный злодѣй Газинъ спитъ на однихъ нарахъ съ наивнымъ лезгиномъ Нуррою, виноватымъ въ однихъ дерзкихъ наѣздахъ, и кроткимъ, простодушнымъ Алеемъ, котораго все преступленіе въ томъ, что онъ по восточной па-

тріархальности слѣпо повиновался старшимъ братьямъ! И сколько здѣсь, на ряду съ разбойниками по ремеслу, людей преступныхъ по легкомыслю, даже по образу мыслей, нетерпимыхъ можетъ-быть въ одно время и вовсе не преступныхъ въ другую, болѣе свѣтлую эпоху. Къ счастію, благодаря успѣхамъ нашего времени, теперь, по словамъ автора, все это значительно смягчилось, и нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи измѣнится еще болѣе...

Давно не встрѣчали мы въ нашей литературѣ сочиненія, которое дѣйствовало-бы на читателя такъ увлекательно, какъ записки изъ «Мертваго Дома». Неистощимый интересъ этого разсказа то поражаетъ васъ ужасомъ, то вызываетъ слезы участія и жалости, то заставляетъ задуматься надъ темной задачей человѣческаго сердца. Это совершенно новый міръ, до-сихъ-поръ знакомый вамъ только по наслышкѣ, который наводить васъ на множество мыслей и вопросовъ, психическихъ и соціальныхъ.

Но можетъ-быть скажутъ, что достоинство сочиненія Достоевскаго зависитъ именно отъ новости предмета, до-сихъ-поръ никѣмъ нетронутаго, и слѣдовательно успѣхъ книги обезпечивается даже при отсутствіи искусства и значительного таланта. Стоить однако прочесть нѣсколько страницъ изъ «Мертваго Дома», чтобы понять несправедливость подобнаго предположенія. Предметъ, конечно, самъ-по-себѣ чрезвычайно новъ, интересенъ и съ первыхъ строкъ подкупаетъ вниманіе читателя; но мы того мнѣнія, что Достоевскій обнаружилъ здѣсь талантъ гораздо больше, чѣмъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, не исключая и Бѣдныхъ Людей. Въ картинахъ «Мертваго Дома» мы видимъ истиннаго художника.

Конечно, все содержаніе этого сочиненія взято изъ дѣйствительной жизни, безъ всякаго изобрѣтенія. Но кто-

же теперь не знаетъ, что творчество состоить не въ придумываніи замысловатыхъ сюжетовъ и эффектныхъ сценъ, а въ искусствѣ изъ началъ, представляемыхъ жизнью, создать ясную картину, во множествѣ видѣній нами лицъ угадать полные типы и изъ дѣйствительности перенести ихъ въ область прекраснаго. Это сдѣлалъ Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ» это сдѣлалъ Крестовскій въ своемъ романѣ «Въ ожиданіи Лучшаго». Такое-же художественное значеніе видимъ мы и въ сочиненіи Достоевскаго. Его «Мертвый Домъ» не дагеротипный снимокъ каторжнаго острога, а художественная картина, которая съ достоинствомъ фотографіи соединяетъ все обаяніе красокъ, даетъ не одинъ какой-нибудь моментъ выраженія человѣческаго лица, а всю игру его физіономіи, чтоб умѣть всецѣло выразить одинъ истинный художникъ. Когда вы прочтете сочиненіе, у васъ остается картина полная и неизгладимая: какъ не забудете вы русской провинціи въ помѣщикахъ «Мертвыхъ Душъ», или гостиной княгини Десятовой, которая, въ ожиданіи лучшаго, служитъ представительницей нашихъ салоновъ, такъ точно никогда не забудете ужасной и печальной жизни, съ которой познакомилъ насъ Достоевскій въ своемъ «Мертвомъ Домѣ».

Читатели знаютъ, что это за жизнь. Но посмотрите, какъ взглянуль на нее авторъ. Онъ умѣлъ освѣтить ее такимъ высоко-гуманнымъ свѣтомъ, согрѣть такимъ теплымъ чувствомъ, какія можно встрѣтить только въ сочиненіи, глубоко и долго зревшемъ въ душѣ, полной любви и сочувствія къ людямъ. Въ каждомъ преступнике онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть теплый, задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія. И какое высокое умѣніе въ немногихъ чертахъ рисовать характеры такъ, что вы

видите ихъ во всей полнотѣ: Достоевскій едва набрасываетъ свои лица, но вы, кажется, читаете всю прошлую жизнь ихъ, даже угадываете ихъ будущую судьбу. Это немного удивило насъ. У автора «Бѣдныхъ Людей» мы находили прежде любовь къ деталямъ, къ анализу сердца и характера въ чертахъ мелкихъ и тонкихъ; здѣсь мы видимъ совершенно иной пріемъ — умѣнье въ немногихъ, но крупныхъ чертахъ представлять полный и оконченный образъ. И по нашему мнѣнію, это больше удается Достоевскому. Мы знаемъ его Макара Алексѣевича такъ, какъ будто-бы передъ нами было разсѣчено его сердце и всякое биеніе его повторилось пѣсколько разъ, но процессъ этого анатомическаго анализа утомляетъ; здѣсь безъ всякаго напряженія вы узнаете человѣка во всей полнотѣ его натуры. Немногими взмахами карандаша Достоевскій рисуетъ намъ Орлова, Газина, Акима Акимыча, Стародубскаго старичка, а мы знаемъ ихъ такъ, какъ-будто сами прожили съ ними цѣлые годы.

Съ первого взгляда чтеніе записокъ изъ «Мертваго Дома» можетъ поразить нѣкоторой беспорядочностью изложенія: авторъ нерѣдко начинаетъ какой-нибудь очеркъ ex abrupto, дѣлаетъ рѣзкие переходы отъ одного предмета къ другому и снова возвращается къ первому, многое не оканчиваетъ, иное повторяетъ, чтобы прибавить нѣкоторыхъ чертъ къ набросанной прежде картинѣ или образу, очень часто говоритъ: «объ этомъ скажу послѣ, это расскажу впослѣдствіи». Въ другомъ сочиненіи это могло-бы показаться недостаткомъ; въ «Мертвомъ Домѣ» такие пріемы не только не вредятъ сочиненію, но вполнѣ гармонируютъ съ его содержаніемъ: поддерживая васъ постоянно въ какомъ-то раздраженномъ состояніи, эта манера только усиливаетъ впечатлѣніе, производимое хаотической картиною

острога. Здесь обыкновенная стройность противорѣчила бы всей обстановкѣ каторжной жизни.

Скажемъ въ заключеніе, что «Записки изъ Мертваго Дома», по нашему крайнему разумѣнію, ожидаетъ огромный успѣхъ, — не въ большинствѣ журнальной критики, умѣющей только отрыгать жвачку того, что поднесено ей наванупъ, а не сегодня, но между нашей публикой, въ которой еще Бѣликовъ подмѣтилъ инстинктъ угадывать свѣжее и здоровое въ литературѣ, не по указанію прислужныхъ аристарховъ, а по собственному живому чутью. Явленія, подобныя «Мертвому Дому» Достоевскаго — не минутные эфемериды, порожденныя какимъ-нибудь мгновеннымъ интересомъ или увлечениемъ, а сочиненія, которыхъ живутъ и не умираютъ въ литературѣ, какъ памятники своего вѣка и общества. «Записки изъ Мертваго Дома» безъ-сомнѣнія переживутъ и самые мертвые дома, которые должны перестроиться до основанія съ успѣхами просвѣщенія и обобщеніемъ идей о человѣческомъ достоинствѣ.

## НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА.

(«Псковитяпка» Л. Мел).

Въ нашей литературѣ и критикѣ есть страшности, которые поражаютъ всякаго, кто только не причастенъ ихъ капризамъ. Мы гордимся своимъ литературнымъ богатствомъ, любимъ отзываться свысока объ иностранныхъ писателяхъ, особенно французскихъ, указывать на свое превосходство въ поиманіи изящныхъ произведеній; а между тѣмъ у насъ часто совершаются явленія, которыхъ показываютъ шаткость въ нашихъ эстетическихъ воззрѣніяхъ. Упрекая французскихъ критиковъ въ легкости взгляда, мы сами куримъ єюміамъ передъ минутными кумирами и съ колоднымъ презрѣніемъ отвертываемъся отъ того, что оставлено въ тѣни по капризу нашей критики. У насъ поднимается иногда восторженный шумъ и слышится немолкаемый гулъ набата изъ-за какой-нибудь повѣсти или даже отрывка, а иногда нетолько замѣчательные таланты, но даже цѣлые роды литературы остаются въ пренебреженіи, потому-что какому-нибудь авторитету угодно было когда-то ихъ унизить. Такъ у насъ цѣлые годы превозно-

сили «Сонъ Обломова», и въ то-же время десятки лѣтъ оставались въ презрѣніи историческій романъ и историческая драма, какъ фальшивый родъ искусства, который отжилъ будто-бы свое время и никогда уже не подымется изъ забвенія.

Судьба исторического романа и драмы составляетъ одинъ изъ самыхъ печальныхъ фактовъ въ исторіи нашей литературы.

Историческій романъ Вальтеръ-Скотта явился у насъ въ эпоху, крайне-неблагопріятную для этого рода искусства. Исторія наша въ то время едва только получила значеніе науки, историческая критика почти еще не установилась, лѣтописи были далеко не всѣ обнародованы и разобраны, литературные памятники древней жизни оставались почти неизвѣстными, археологическое изученіе народнаго быта находилось въ дѣствѣ,—однимъ словомъ, у насъ не было подготовки для того рода искусства, который требуетъ выработанныхъ историческихъ материаловъ. Между-тѣмъ мы не могли не увлечься обаятельной силой великихъ образцовъ англійскаго романиста, и понятно, что у насъ должны были явиться опыты историческаго романа. Но здѣсь съ первого взгляда видно, чего можно было ждать отъ этого романа въ русской литературѣ, при томъ состояніи, въ какомъ находилась у насъ исторія. Выработанная Карамзінымъ по древне-исторической формѣ, она могла дать материалы только для созданій подобныхъ его сантиментально-папыщенной Мареѣ Посадницѣ. Настоящій исторический романъ былъ у насъ почти невозможенъ, даже и при талантѣ самого Вальтеръ-Скотта. Откуда-же было романисту проникнуться духомъ исторической жизни, когда всѣ материалы для изученія ея ограничивались какими-нибудь записками Олеарія и Герберштейна, да тоющими замѣт-

ками лѣтописцевъ! Ясно, что съ старымъ бытомъ нельзя было познакомиться ни изъ сочиненій иностранцевъ, ни изъ бѣглыхъ замѣчаній монаховъ, вовсе не имѣвшихъ цѣли списывать внутренній бытъ народа. Вотъ отчего одни писатели начали изображать нашу старую жизнь по чистымъ вымысламъ фантазіи, какъ Вельтманъ, другие стали копировать ее съ быта нынѣшнихъ простолюдиновъ, какъ Загоскинъ. Разумѣется, въ томъ и другомъ случаѣ она являлась не въ своемъ цвѣтѣ. По этому лучшіе наши исторические романисты, не смотря на временной успѣхъ въ публикѣ, скоро потеряли значеніе и притомъ въ паденіи своею увлекли и самый родъ исторического романа. Находя въ сочиненіяхъ Загоскина и Лажечникова то омужиченіе нашей старой жизни, то уборку ея въ несвойственная ей краски, публика начала подозрѣвать ложную сторону предлагаемыхъ ей картинъ, а наконецъ стала смотрѣть холодно и на самый исторический романъ. Этой холодности помогла еще больше толпа безталанныхъ послѣдователей Вальтеръ-Скотта; исторические романы начали составляться у насъ по общей, весьма незатѣйливой выкройкѣ: обыкновенно брали изъ Исторіи Карамзина какую-нибудь эпоху позаманчивѣе, привязывали къ ней вымышленныя лица, да вводили въ придуманное событіе какое-нибудь лицо историческое—и планъ россійского романа былъ готовъ; оставалось убрать его описаніями охобней да кокошниковъ, кубковъ да братинъ и пересыпать взятыми изъ лѣтописей старинными словами. Это опошило наконецъ романъ до такой степени, что явилось сомнѣніе въ дѣйствительности самаго рода искусства, и Сенковскій рѣшился высказать дикову мысль, что исторический романъ есть фальшивый выродокъ искусства, незаконное дитя науки и фантазіи, уродливое произденіе воображенія, болыаго педантизмомъ. И несмотря

на то, что у насъ былъ переведенъ почти весь Вальтеръ-Скоттъ, что многие не забыли еще первого обаятельныйнаго впечатлѣнія его прекрасныхъ созданій, — капризное слово моднаго критика нашло сочувствіе или по-крайнеймѣръ не встрѣтило противодѣйствія. И вотъ въ продолженіе многихъ лѣтъ на историческомъ романѣ лежало клеймо отверженія, и хотя у насъ есть два первоклассныя произденія въ этомъ родѣ — «Капитанская Дочка» и «Тарасъ Бульба», но иные и до сихъ поръ убѣждены, что исторический романъ изъ старой жизни въ Россіи невозможенъ.

Почти тоже было у насъ и съ исторической драмой, съ тою разницею, что въ этомъ родѣ искусства, который требуетъ болѣе наглядной правды въ самомъ дѣйствіи, недостатокъ историческихъ матеріаловъ и ложный исторический взглядъ должны были обнаружиться еще яснѣе. Тутъ, при недостаточной обработкѣ нашей старины, даже величайшій поэтический инстинктъ не спасалъ писателя: такъ Пушкинъ въ «Борисѣ Годуновѣ», при всемъ художественномъ тактѣ, при всемъ удивительномъ проникновеніи смысломъ эпохи и духомъ нашей старой жизни, не спасся отъ мелодраматизма, и карамзинскій взглядъ повредилъ важнѣйшему характеру въ его драмѣ. Впослѣдствіи толпа посредственостей, у которыхъ отсутствіе художническаго таланта замѣнялось кваснымъ патріотизмомъ, употребила этотъ родъ совсѣмъ не для литературныхъ цѣлей и создала новый родъ драмы панегирической. Эти-то мнимо-патріотическія измысленія Полеваго и Кукольника — «Руки Всевышняго» и «Дѣдушки Флота» опошлили и добили нашу историческую драму. Если ее не называли открыто ложнымъ родомъ искусства, то многие однажды думали, что драма эта покончила у насъ свое существованіе навсегда или по-крайней-мѣрѣ на долго. Вотъ къ какимъ жалкимъ и несправедливымъ заклю-

ченіямъ пришла наша критика и публика: оттого-что исторической романъ и драма явились у насъ во время, не-благопріятное такому роду искусства, мы отвергли и самый родъ этотъ, какъ-будто существованіе какого-нибудь вида литературы зависитъ единственно отъ нашей воли и при-хоти.

Здѣсь намъ могутъ предложить вопросъ: возможны-ли въ наше время исторический романъ и историческая драма? Но вопросъ этотъ очевидно совпадаетъ съ другимъ: по-двинулась-ли впередъ наша исторія, разработаны-ли теперь достаточно материалы нашей старины, уяснилось-ли пони-маніе нашей старой жизни? На этотъ послѣдній вопросъ теперь можно, кажется, отвѣтить утвердительно. Со времени Карамзина исторической взглядъ нашъ уяснился зна-чительно: этому помогли отчасти исторические труды Соловьева и Устрялова, а еще больше открытие и обнаро-дование многихъ историческихъ памятниковъ, каковы Акты Археографической Комисіи, Домострой, Записки Кошихина и другія приобрѣтенія послѣдняго времени. Теперь собраніе материаловъ представляетъ достаточное количество источ-никовъ для уразумѣнія нашей прошлой жизни. Множество историческихъ записокъ, какъ-напримѣръ Княгини Даш-ковой, Державина, Императрицы Екатерины II, еще больше пополнило этотъ материалъ; а труды Бѣляева, Забѣлина, Щебальского и другихъ способствовали его обработкѣ. Благодаря этому, домашняя жизнь старого времени теперь для насъ уже не темная вода, въ которой мы плавали ощущую во времена Полеваго и Загоскина. Въ наше вре-мя едвали кто рѣшится высказать сомнѣніе, будто историческая драма у насъ невозможна потому, что въ старой Руси мы совсѣмъ не видимъ женщины. Все это убѣждаетъ насъ, что теперь возможно, конечно при значительномъ

трудолюбії, основательное знакомство съ нашей стариной, а следовательно возможны—исторический романъ и историческая драма.

Но тутъ опять представляются вопросы: если этотъ родъ искусства возможенъ въ наше время, то отчего-же является такъ мало сочиненій въ этомъ родѣ и сама публика смотрить на него холодно и кажется не чувствуетъ въ немъ потребности? отчего въ теченіе многихъ лѣтъ у насъ не являлось исторического романа, и въ литературѣ послѣдняго времени мы можемъ указать развѣ на двѣ, на три историческія драмы? Стало-быть намъ нужны романы изъ современной жизни, а не драмы изъ старого быта, стало-быть насъ занимаетъ только картина настоящаго, портреты практическихъ Штолльцевъ да идеальныхъ болгаръ, привлекаетъ не «вчера», а «наканунѣ», и мы знать не хотимъ, что дѣлялось прежде. По-видимому это справедливо и однакожъ не совсѣмъ вѣрно. Отсутствие исторического романа и драмы зависѣло не оттого только, чтобъ мы были увлечены исключительно настоящимъ и совершенно пренебрегали прошедшимъ, но вмѣстѣ и оттого, что этотъ родъ изящнаго требуетъ въ писателѣ соединенія таланта съ ученой подготовкой, съ разнообразными историческими и археологическими свѣдѣніями. Кто-же изъ насъ приготовленъ къ подобному труду, кто послѣ долгаго презрѣнія къ историческому роду литературы, не упустилъ изъ вида такой работы? Мы полагаемъ, что еслибы у насъ были такие писатели, то они испытали бы себя въ этомъ родѣ, откликнулись бы на запросъ объ исторической драмѣ, сдѣланный Пушкинымъ. Между-тѣмъ мы можемъ указать въ видѣ исключеній развѣ на одного Мая. Занимая видное мѣсто въ ряду нашихъ поэтовъ, онъ отличается тѣмъ, что соединяетъ неоспоримый талантъ съ серьезнymъ образованіемъ и знаніемъ народа,

нетолько въ его настоящемъ, но и въ прошедшемъ; а этимъ немногіе могутъ у насть теперь похвалиться. Обратимся къ его «Псковитянкѣ», появление которой составляетъ любопытный фактъ въ литературѣ, какъ по достоинствамъ самого сочиненія, такъ и по странному равнодушію, съ какимъ обошла его наша критика.

Драма Мая раздѣлена на пять актовъ: въ первомъ дѣйствіе происходитъ въ 1555, а въ остальныхъ въ 1570 году, въ то время, когда царь Иоаннъ Грозный, послѣ погрома Новгорода, обратился на Псковъ. Тутъ съ первого взгляда уже видно, что первый актъ составляетъ особую картину, нужную развѣ для объясненія главнаго дѣйствія. Въ ней авторъ вводить насть въ свѣтлицу псковскаго боярина Шелоги, котораго царь послѣ ливонскаго похода оставилъ на сторожѣ въ Колывани. Мы узнаемъ, что у жены боярина есть маленькая дочь, рожденная не отъ мужа. Изъ задушевной бесѣды боярыни Вѣры съ сестрой ея Надеждой открывается, что когда царь вернулся изъ похода ко Пскову, то боярыня ходила по обѣту въ Печерскій-монастырь, но заблудилась въ лѣсу, попала въ царскую ставку, провела въ ней ночь—и слѣдствіемъ этого было рожденіе Ольги. Вѣра трепещетъ при мысли о томъ, что будетъ съ младенцемъ, когда воротится ея мужъ. Въ то время, какъ она выплаиваетъ сестрѣ свою исповѣдь и страданія, слышатся трубы: это является бояринъ Шелога съ княземъ Токмаковымъ, женихомъ Надежды. Онъ видѣтъ ребенка и спрашиваетъ грозно: «жена, а чей пашенокъ этотъ?» тогда Надежда падаетъ передъ нимъ на колѣна и говорить: «мой!» Вотъ содержаніе первого акта. Въ немъ мы видимъ совершенно отдѣльную картину, написанную искусно, но почти не имѣющію связи съ драмою, которая отдѣлена отъ нея на разстояніе пятнадцати лѣтъ, и гдѣ являются уже новыя лица.

Самая драма въ четырехъ остальныхъ актахъ представляетъ картину Пскова, при нашествіи на него царя Иоанна, послѣ новгородского погрома, въ 1570 году. Въ строгомъ смыслѣ здѣсь почти нѣтъ настоящей драмы, потому-что нѣтъ ни сильной завязки, ни рельефно-очерченныхъ характеровъ. Въ первой картинѣ мы въ саду князя Токмакова, гдѣ Ольга, которую всѣ считаютъ его дочерью, играетъ съ своими подругами. Среди этихъ девичьихъ игръ мы узнаемъ, что она любить посадничьяго сына Михаила Тучу, который, не надѣясь высватать за себя дочь Токмакова, собирается съ псковской вольницей подъ Сибирскій-камень добыть тамъ мѣховъ и серебра. Сцена оканчивается набатомъ, призывающимъ на вѣче.

Въ слѣдующемъ актѣ передъ нами открывается картина псковскаго народнаго вѣча. Это вѣче, можно сказать, играетъ роль настоящаго героя драмы, на которомъ гораздо больше сосредоточивается участіе читателя, чѣмъ на главныхъ дѣйствующихъ лицахъ. Весь этотъ актъ полонъ драматическаго движенія и жизни: это настоящее русское вѣче, представленное съ полнымъ знаніемъ исторіи и нашего старого быта, съ его удальствомъ, неурядицей, здравымъ смысломъ и отвагою. Здѣсь мастерски переданы всѣ колебанія народнаго сборища, буйный и благородный духъ молодой вольницы, привыкшой къ свободѣ и удальству, осторожныя дѣйствія городскихъ аристократовъ и рѣчи послѣдлаго посадника. Рассказъ гонца Велебина о разореніи Новгорода своимъ эпическимъ характеромъ нисколько не нарушаетъ драматизма этой картины; съ первыхъ словъ онъ какъ-бы гармонируетъ съ вѣчевымъ колоколомъ:

Поклонъ и слово Новгорода: «Братья  
Молодиа, всѣ мужи псковичи!  
Вамъ кланялся-де Новгородъ Великій,

Чтобъ помогли вы супротивъ Москвы,  
 И вы-де брату вашему старшому  
 Не дали помочь ниже никакую,  
 И цаловаше крестное забыли:  
 Ино на то вся ваша власть и воля,  
 И помоги вамъ Троица святая!  
 А братъ-де вашъ старшой открасовался  
 И наказалъ вамъ долго жить да править  
 По немъ поминки ...»

Всѣ волненія вѣча, при страшномъ разсказѣ гонца о новгородскихъ убийствахъ, переданы авторомъ съ большимъ искусствомъ. Предложеніе намѣстника встрѣтить царя съ хлѣбомъ и солью, ради спасенія Пскова, мрачныя рѣчи старого посадника Михаила Иларіоновича, предвѣщающаго, что изъ Пскова будетъ скоро хороший московскій пригородъ, наконецъ выходъ изъ города вольницы, отправляющейся съ посадничими сыновьями подъ Камень, чтобы только не подчиниться царскимъ опричникамъ—все проникнуто самой живой дѣйствительностью. Мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать послѣдней сцены этого акта. Вотъ она:

МИХАЙЛО ТУЧА.

Князь Юрій

Иванович! съ тобою псковичи —  
 Охочій людь — прощаются....

КНЯЗЬ ТОКМАКОВЪ.

Куда?

МИХАЙЛО ТУЧА.

Господь сведетъ... Не поминай насъ лихомъ!...  
 Великій Псковъ оставилъ Государю;  
 Святыню храмовъ, вѣче вѣковое,  
 Дома и землю, семьи и могилы....  
 А волю сложить къ царскому подножью —  
 Гдѣ Богъ укажетъ — съ буйной головою....

КНЯЗЬ ТОКМАКОВЪ.

Постойте! образумьтесь!

Куда вы рветесь и кому грозите?  
 Безумцы!... Что вы кличите на Псковъ

Правдивый гнѣвъ закона го владыки?...  
Иванъ Васильчикъ Грозный вѣдь не шутить...

## ЧЕТВЕРТКА.

А пусть не шутить; шутка не обида,  
А отъ нешутки отпоеемся пѣсней...  
Ну, Колтырь Раковъ, гдѣ ты?

КОЛТЫРЬ РАКОВЪ (съ балалайкой).  
Здѣсь.... Ау!...

## ЧЕТВЕРТКА.

Прощальную!

## МИХАЙЛО ТУЧА.

Со Псковомъ-осударемъ...

## ГОЛОСА.

Прощальную.... Со Псковомъ-осударемъ!..

КОЛТЫРЬ РАКОВЪ (*ударяется по балалайке*).

Осудари-псковичи!  
Собирайтесь на дворы;  
Зазубрились мечи,  
Притупились топоры...  
То-то лели, то-то лели, то-то лешиньки мои!

НѢСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ (*подхватываются*).

То-то лели, то-то лели, то-то лешиньки мои!  
(*Толпа уходитъ съ Смѣрдыш-ворота. Туча спереди*).

ГОЛОСЪ КОЛТЫРЯ РАКОВА (*вдали*).

Али не зачѣмъ точить  
Ни мечей, ни топоровъ?  
Али негдѣ намъ сложить  
И головушекъ за Псковъ?  
То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои!

ГОЛОСА ВДАЛИ.

То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои!

Туть столько жизни и правды, что мы ставимъ эту сцену на ряду съ лучшими мѣстами «Бориса Годунова» Пушкина. Вообще третій актъ—лучшее мѣсто во всей драмѣ Мая. Съ первого взгляда здѣсь можетъ поразить множе-

ство лицъ и дикій беспорядокъ дѣйствія, по вчитываясь, вы находите, что въ этомъ-то и состоить прелесть, кото-рою проникнута вся эта живая сцена. Это уже не прили-занные казаки «Ермака» Хомякова, не приторная патріо-тическая драпировка «Ляпунова»; это настоящая русская народная сходка, которую по живости и простотѣ можно сравнить только съ римскими сценами въ шекспировомъ Юліѣ Цезарѣ.

Въ слѣдующемъ актѣ авторъ вывелъ Иоанна Грознаго и съ первого явленія поставилъ его вѣрно и поэтически. Царь является въ домѣ князя Токмакова, и Ольга, по тогдашнему обычаю, какъ хозяйка встрѣчаетъ его съ чар-вой меду. При появлѣніи дѣвушки, Иоаннъ узнаетъ въ ней знакомыя, милыя черты матери ея Вѣры. Сердце его, пол-ное непріязни къ Пскову, смягчается при видѣ дочери: онъ призываетъ Малюту и говоритъ:

Да престанутъ  
Убѣства!... Много крови... Притупите  
Мечи о камень: Псковъ хранить Господь!...

Въ пятомъ актѣ характеръ Грознаго обрисовывается еще полно, но едва-ли въ пользу истины. Здѣсь мы долж-ны сдѣлать одно замѣчаніе. Извѣстно, что взглядъ Карам-зина повредилъ Пушкину въ созданіи его Годунова; намъ кажется, что и Мей также ничего не выигралъ, придержи-ваясь въ характерѣ Грознаго воззрѣнія Соловьева. Мы не отрицаемъ, что во взглядахъ нашего историка на Иоанна IV есть доля правды, но не раздѣляемъ вполнѣ его идей. Ко-нечно, Иоаннъ имѣетъ большое средство съ Петромъ, по общему имъ обоимъ революціонному стремленію и по сходству самыхъ дѣяній. Если противодѣйствіе, встрѣ-ченное Петромъ, привело его къ жестокости, съ какою онъ

ломалъ все, что ложилось поперекъ его дороги, не останавливаясь ни предъ насильственнымъ постриженiemъ жены, ни передъ кровавой дыбою сына; то понятно, какъ противодѣйствіе, еще болѣе упорное, должно было ожесточить человѣка, съ такими-же революціонными идеями, но поставленного судьбою въ самый ужасный вѣкъ грубости и деспотизма. Грозный былъ тотъ-же Петръ, родившійся только за полтора столѣтія раньше возможности реформы. Въ наше время обнародованіе записокъ Курбскаго и дѣла царевича Алексія достаточно разъяснило характеръ этихъ суровыхъ царей. Но кажется, наши историки не достаточно еще раскрыли, въ какомъ положеніи Иоаннъ и Петръ, преслѣдовавшіе упорную оппозицію въ лицѣ боярства, стояли въ отношеніи къ пародной массѣ. У насъ обыкновенно, представляя ихъ гонителями враждебнаго реформѣ барства, въ то-же время изображаютъ ихъ защитниками массы народной. Мы не раздѣляемъ этого мнѣнія: намъ кажется, его довольно трудно согласить съ тѣми фактами, какъ одинъ истреблялъ цѣлые посады и села, изъ опасенія, чтобы вѣсть о его походѣ не дошла въ Новгородъ, а другой послалъ десятки-тысячъ людей на гибель въ невскія болота и спокойно прикрѣплялъ къ землѣ свободныхъ крестьянъ. Вотъ почему и нѣкоторыя черты характера Иоанна въ драмѣ Мая кажутся намъ только уступкою мнѣніямъ Соловьеву, повредившою истину въ характерѣ царя. Таковъ, напримѣръ, слѣдующій монологъ, съ которымъ царь обращается къ сыну и Борису:

Ребята вы!.. Туда-жъ хитрять со мною:  
Хотять задобрить, чтобы не клалъ опалы...  
Да на кого?.. На людъ-то православный—  
Краеугольный камень нашей власти  
И наше всевозлюбленное чадо!  
Въ умѣ-ли вы?.. Къ тому-ли рѣчь я велъ?

Нѣтъ, Ваня, вотъ тебѣ завѣтъ отцовскій:  
Поволить Богъ меня къ себѣ возврати  
И будешь ты царемъ всея Руси:  
Храни тебя Заступница— обидѣть  
Единаго отъ малыхъ сихъ..

Слова эти мудрено принять за коварное притворство, а потому они, по нашему мнѣнію, не согласны съ характеромъ Грознаго.

Пятый актъ драмы Мая въ художественномъ отношеніи—слабѣе другихъ. Бесѣда Иоанна съ Годуновымъ и сыномъ о замыслахъ бояръ во время его болѣзни, обѣ Адашевъ и Сильвестръ, хотя выражена сильно, но останавливается ходъ дѣйствія и потому кажется лишнею. Появленіе Ольги, увезенной Малютою и отбитой княземъ Вяземскимъ, на пути въ Печерскій-монастырь, откуда она попала въ царскую ставку—еще можетъ быть оправдано; но нападеніе Михайла Тучи съ толпою псковской вольницы на царскій станъ и битва передъ самимъ царскимъ шатромъ—кажется намъ значительной натяжкой, не оправдываемой ни исторіей, ни искусствомъ. Конечно, въ лѣтописяхъ того времени не трудно найти примѣры удалства, дошедшаго почти до безумія; но автору не удалось оправдать этого художественно, не удалось представить нападеніе вольницы съ тою степенью правды, при которой и исключительный случай кажется въ искусствѣ правдоподобиѣ всякаго дѣйствительнаго событія. Наконецъ смерть Ольги, которая мелодраматически закалывается въ глазахъ отца, въ ту минуту, когда Малюта извѣщаетъ его о смерти Тучи, составляетъ придуманный эффектъ, который вредить окончательно впечатлѣнію драмы. Намъ скажутъ опять, что девушка легко могла зарѣзаться ножемъ, при вѣсти о погибели любимаго жениха, и что у Шекспира мы найдемъ десятокъ самоубийствъ еще эффектнѣе. Мы противъ этого

и не споримъ, но дѣло въ томъ, что самоубійство нисколько не оправдывается характеромъ Ольги, нисколько не выводится изъ его внутренняго развитія. Это не естественное разрѣшеніе характера, какъ у Шекспира, а просто пружина, приධланная снаружи для заключенія пьесы.

Такимъ-образомъ, рассматривая въ связи всю драму Мей, мы видимъ въ ней произведеніе весьма-замѣчательное, которое, не смотря на свои недостатки, отличается значительными достоинствами. Если въ постройкѣ драмы и въ ея интригѣ нѣтъ силы, если характеры главныхъ лицъ, Ольги и Михайлы Тучи, блѣдны, и лицу царя Иоанна повредилъ невѣрный историческій взглядъ, если любовь автора къ эффектнымъ сценамъ, понятная конечно въ драматургѣ, увлекаетъ его иногда за предѣлы, допускаемые искусствомъ; то съ другой стороны вездѣ, гдѣ дѣло касается обрисовки старого быта и народныхъ обычаевъ, Мей становится истиннымъ художникомъ, а въ картинахъ народной жизни, особенно псковскаго вѣча, представляетъ сцены, которыхъ можно поставить на ряду съ лучшими произведеніями нашей поэзіи въ этомъ родѣ. Здѣсь истинное торжество Мея.

Что касается виѣшней формы автора, то какъ ни странно говорить въ нашевремя объ языкѣ, мы должны однакожъ замѣтить, что въ этомъ отношеніи Мей стоитъ едвали не выше всѣхъ современныхъ нашихъ писателей: его рѣчь, задушевная и блестящая, всегда прекрасна; но тамъ, гдѣ дѣло идетъ о сюжетѣ чисто-народномъ, она играетъ у него всѣми красками русской самобытности и прелести. Это конечно не новость для всѣхъ, кто сколько-нибудь знаетъ Мея, но дѣло въ томъ, что въ «Псковитанѣ» языкъ его подвинулся еще дальше, выработался до той степени со-

вершенства, которая придает драмѣ особое обаяніе, даже и въ сценахъ не увлекающихъ по содержанію.

Мы убѣждены, что когда вполнѣ пройдетъ наша холодность къ историческому роману и драмѣ, а это несомнѣнно случится рано или поздно, то «Псковитянка» Мая будетъ поставлена высоко въ нашей литературѣ.

---

## ВОПРОСЪ О МАЛОРОССІЙСКОЙ ЛІТЕРАТУРѦ.

Извѣстно, что въ томъ краѣ, который называется обыкновенно Малороссіей и населенъ болышею частію южно-русскимъ племенемъ, до настоящаго столѣтія не было почти никакой письменной литературы на мѣстномъ нарѣчіи. Не смотря на значительныя отличія этого нарѣчія отъ общерусского языка, на долгую историческую жизнь страны, означенованную многими самобытными явленіями, не смотря на даровитость племени, изъ которого въ продолженіе столѣтій вышло много людей талантливыхъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности,—умственная жизнь страны выразилась на мѣстномъ нарѣчіи только въ однихъ устныхъ памятникахъ народной поэзіи. На этомъ нарѣчіи хранились въ народной памяти только историческія и бытовыя пѣсни, сказки и легенды, пословицы и поговорки. Но въ продолженіе исторической жизни этого края, все что только выходило изъ уровня безразличной народной массы, все что проникалось сколько-нибудь образованіемъ,—выдѣлялось

обыкновенно изъ племенного круга и отрывалось отъ племенного нарѣчія, обращаясь по силѣ историческаго таготѣнія въ разныя эпохи къ языкамъ самостоятельнымъ—церковнославянскому, польскому, русскому. До конца прошлого вѣка никому въ Малороссіи не приходило въ голову, что мѣстное нарѣчіе можетъ сдѣлаться когда-нибудь языкомъ литературнымъ или ученымъ. Какъ скоро кто-нибудь изъ образованныхъ людей принимался за перо для выраженія мыслей, сколько-нибудь выходящихъ изъ круга обыденной жизни, онъ обращался къ одному изъ готовыхъ уже литературныхъ языковъ, и если вносилъ въ свою рѣчь простонародныя мѣстныя слова или обороты, то не съ намѣреніемъ способствовать обработкѣ мѣстнаго говора, а только отъ недостаточнаго знакомства съ тѣмъ языкомъ, къ которому принужденъ былъ обратиться въ своемъ сочиненіи. Еслибы всѣ южно-русскіе писатели были на столько знакомы съ польскимъ, русскимъ или церковнославянскимъ языкамъ, чтобы писать на нихъ правильно и чисто, то имъ и на мысль не пришло бы вносить умышленно въ свою письменную рѣчь какое-нибудь слово или оборотъ изъ своего мѣстнаго нарѣчія. Самые характерные и наиболѣе народные писатели и мыслители изъ малороссіанъ, восхищаясь народными пѣснями кобзарей на мѣстномъ нарѣчіи, сами на немъ не писали, потому-что считали его провинциальнымъ говоромъ, а не литературнымъ языкомъ.

Но въ началѣ нынѣшняго столѣтія это положеніе въ Малороссіи начинаетъ измѣняться. Въ то время, какъ словесная литература, выражавшаяся до-тѣхъ-поръ въ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, остановилась въ своемъ развитіи, некоторые образованные малороссы принялись собирать эти сказки, пѣсни и думы, записывать ихъ со словъ простолюдиновъ,—и сборники этой народной поэзіи начали

пополняться съ каждымъ годомъ. Эти труды украинскихъ собирателей показали, что на южномъ русскомъ нарѣчіи существуетъ масса поэтическихъ памятниковъ, которая не уступаетъ нашей сѣверной народной поэзіи на чистомъ русскомъ языѣ. Какъ народные пѣсни и баллады на шотландскомъ и уэльскомъ нарѣчіи, собранные въ концѣ прошлаго вѣка, обратили на себя вниманіе Англіи, такъ и изданіе этихъ народныхъ памятниковъ малороссійской поэзіи вызвало искреннюю симпатію въ русскомъ обществѣ. Но малороссы на этомъ не остановились. Въ Англіи шотландскія пѣсни послужили только источникомъ вдохновенія для Борисовъ и Вальтеръ-Скоттовъ, но не оторвали ихъ отъ общей англійской литературы и выработанного вѣками языка; у насъ-же въ Малороссіи нашлись люди, которые, обращаясь къ живому источнику племенной народной поэзіи, начали вмѣстѣ-съ-тѣмъ мечтать о литературной самобытности своего нарѣчія. Не довольствуясь возможностью внести новую струю народной поэзіи въ общую совреницу русской литературы, чѣмъ впрочемъ ограничились даровитѣшіе изъ нихъ, многіе крайніе патріоты стали мечтать о самостоятельной южно-русской литературѣ. Въ альманахахъ и сборникахъ, вмѣстѣ со вновь отысканными народными пѣснями и статьями на рускомъ языѣ по вопросамъ южнаго края, начали появляться лирическія стихотворенія и произаические разсказы на малороссійскомъ нарѣчіи. Мало-по-малу число писателей въ разныхъ родахъ на этомъ мѣстномъ говорѣ стало увеличиваться—явились драматическія сочиненія Котляревскаго, повѣсти и разсказы Основяненко, съ замѣтными признаками дарованія. Наконецъ въ недавнее время появился поэтъ, который при знаніи русскаго языка остался вѣренъ своему нарѣчію и писалъ на немъ съ такимъ успѣхомъ, что мн-

гіе земляки увидѣли въ пемъ первокласнаго генія. Тутъ заговорили уже, что малороссы не племя, а особый народъ, говоръ ихъ не нарѣчіе русскаго языка, а самостоятельный языкъ, съ полною исторіей въ прошломъ и задатками литературнаго развитія въ будущемъ, и что въ Малороссіи должна быть своя особая умственная жизнь. Начали толковать о составленіи малороссійскихъ граматикъ и словарей, объ изданіи на мѣстномъ нарѣчіи учебниковъ и ученыхъ сочиненій, приналиссъ составлять для него особое правописаніе, съ намѣреніемъ какъ можно больше удалить его отъ общерусскаго языка. Наконецъ самые крайніе украинофилы затѣяли мѣстный переводъ Евангелія и начали изданіе литературнаго журнала, въ половину на русскомъ, въ половину на малороссійскомъ нарѣчіи, который долженъ былъ положить «основу» той мысли, что малороссійскій народъ имѣеть свой особый языкъ и самостоятельную литературу.

Спрашивается: что значитъ это литературное движение въ одной изъ нашихъ коренныхъ областей? Неужели среди русскаго народа есть дѣйствительно какой-то особый народъ, съ своимъ языкомъ и литературой, которыхъ мы не знали въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ? Что за смыслъ въ этомъ движеніи и какихъ слѣдуетъ ожидать отъ него результатовъ? Новая-ли это сила, заявляющая свою самостоятельность, или только увлеченіе ложнаго патріотизма? Неужели у насъ должно возникнуть явленіе безпримѣрное въ исторії? Въ то время, какъ во всей Европѣ, при соединеніи племенъ въ націю, провинціальная нарѣчія сливались въ одинъ народный языкъ, въ одинъ общий органъ ученой и литературной дѣятельности, неужели въ одной Россіи могутъ, при государственномъ единству, существовать два отдѣльные языка и двѣ особыя литературы? Возможна-

ли самобытная малороссийская литература въ то время, когда оба племени связаны уже историческимъ ходомъ со- бытій въ одну неразрывную націю? Вотъ мысли, которыхъ не могли не обратить вниманіе всякаго, кто слѣдилъ у насъ за умственнымъ движеніемъ послѣднихъ лѣтъ. Поста- раемся опредѣлить это.

Вопросъ о томъ, есть-ли дѣйствительно на свѣтѣ ма- лороссийскій языкъ и малороссийская литература, давно уже затрагивался многими писателями, какъ великорусскими, такъ и самими малороссами. Еще въ 1841 году Бѣлинскій, говоря о бывомъ значеніи южнорусского нарѣчія, спра-шивалъ: должны ли наши литераторы изъ малороссіянъ писать по малороссийски? Признавая существованіе южно- русского языка въ памятникахъ народной поэзіи, онъ въ то-же время замѣтилъ, что при всемъ ихъ богатствѣ не слѣдуетъ, чтобы у малороссіянъ и теперь могла быть ли- тература. «Малороссія, писаль онъ, начала выходить изъ своего непосредственнаго состоянія вмѣстѣ съ Великоро- ссіею со временемъ Петра Великаго. До-тѣхъ-поръ языкъ былъ общій, потому-что идеи послѣдняго казака были въ уровень съ идеями пышнаго гетмана. Но съ Петра нача- лось раздѣлевіе сословій. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русскій языкъ и русско-европейскіе обычай въ образѣ жизни. Языкъ самого народа началъ портиться, и теперь малороссийскій языкъ находится пре- имущественно въ однѣхъ книгахъ. Слѣдовательно, мы имѣ- мъ полное право сказать, что теперь уже нѣть малорос- сийскаго языка, а есть областное малороссийское нарѣчіе, какъ есть бѣлорусское, сибирское и другія, подобныя имъ областныя нарѣчія». Такъ-же отрицательно относился Бѣ- линскій и къ малороссийской литературѣ. «Поэзія, продол- жаетъ онъ, есть идеализированіе дѣйствительной жизни:

чью-же жизнь будуть идеализировать наши малороссійські поэты? Высшаго общества Малороссії? Но жизнь этого общества переросла малороссійскій языку, оставшійся въ устахъ одного простаго народа, и это общество выражаетъ свои чувства и понятія не на малороссійскомъ, а на русскомъ и даже французскомъ языкахъ. И какая разница въ этомъ случаѣ между малороссійскимъ нарѣчіемъ и русскимъ языкомъ! Русскій романистъ можетъ вывести въ своемъ романѣ людей всѣхъ сословій и каждого заставить говорить своимъ языкомъ: образованнаго человѣка языкомъ образованныхъ людей, купца по-купечески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки. А малороссійское нарѣчіе одно для всѣхъ сословій—крестьянское. Поэтому наши малороссійские литераторы и поэты пишутъ повѣсти всегда изъ простаго быта». Подобныя мнѣнія можно встрѣтить и у писателей малороссійскихъ. Закревскій, издатель «Старосвѣтскаго Бандуриста», говорить также противъ самостоятельности малороссійскаго языка. «Приличнѣе и правильнѣе—пишеть онъ, было-бы назвать малороссійскій языкъ нарѣчіемъ русскимъ, такъ-какъ оба языка суть вѣти одного великаго славянорусскаго племени, связаннаго священными узами, а именно одинаковостью религіи и языка, въ которомъ вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ явились съ теченіемъ времени иные обороты и даже чуждыя выраженія для языка русскаго. Несмотря однако на это различіе, языки обѣихъ отраслей остался въ сущности одинаковыми, потому-что какъ великоруссы, такъ и украинцы безъ труда другъ-друга понимаютъ». Но эти мнѣнія не нравятся проповѣдникамъ украинской самобытности.

Мѣстные патріоты увѣряютъ, что малороссійскій языкъ есть такой-же отдельный, самостоятельный славянскій языкъ, какъ болгарскій, чешскій, польскій—и слѣдовательно на-

зыватъ его нарѣчіемъ русскаго языка несправедливо. Отвѣгая мнѣніе Еѣлинскаго, они опираются на авторитетъ Миклошича, который въ своемъ *Vergleichende Grammatik der Slawischen Sprachen* ставитъ малороссійскій языкъ не въ категорію провинціальныхъ нарѣчій, а на ряду съ самостоятельными языками славянскихъ народовъ. Одни изъ украинскихъ патріотовъ, признавая, что южнорусскій языкъ не отличался значительно отъ сѣвернорусскаго до той эпохи, когда восточная Россія порабощена была монголами, а западная подчинилась Литвѣ и Польшѣ, въ то-же время утверждаютъ, что съ XV вѣка оба нарѣчія, вслѣдствіе различія историческихъ судебъ, сложились въ отдѣльные, самостоятельные языки, съ своей особой организацией. Другіе, болѣе рьяные украинофилы идутъ дальше: они не только не допускаютъ возможности принять малороссійскій народный говоръ за нарѣчіе русскаго языка, не только не признаютъ единства ихъ въ XIII столѣтіи, но увѣряютъ, что между ними была коренная разница не при Влади-мірѣ, не при основаніи даже русскаго государства, а еще въ ту эпоху, когда совершилось распаденіе общеславянскаго языка на отдѣльные народные языки. Послѣдователи этихъ мнѣній, приводя въ подкрѣпленіе свое разныя положенія и дѣгадки, прямо уже называютъ украинцевъ особымъ народомъ, нарѣчіе свое самостоятельнымъ языкомъ, собраніе изданныхъ въ послѣднее полстолѣтіе на этомъ нарѣчіи сочиненій самобытною малороссійской литературою и предсказываютъ ей великую будущность. Но такъ-ли это?

Исторію малороссійскаго нарѣчія прослѣдить не трудно, потому-что всѣ сколько-нибудь серьезныя изслѣдованія показываютъ, что оно сложилось на исторической памяти.

Мы не будемъ разбирать предположенія о самостоятельномъ образованіи малороссійскаго нарѣчіи до основанія

руссаго государства: эти бредни, вызванныя увлеченіемъ узкаго патріотизма, напомнили самимъ малороссамъ басню объ услужливомъ медвѣдѣ Крылова. Онъ построены на доказательствахъ въ родѣ того, что въ нѣкоторыхъ народныхъ пѣсняхъ на малороссійскомъ нарѣчіи, какъ напримѣръ въ Трайзіллѣ, сохранились слѣды міѳологической древности, да у Нестора, при описаніи введенія христіанства, въ обращеніи кievлянъ къ опрокинутому въ Днѣпръ идолу, встрѣчается будто-бы малороссійская фраза: «вы-  
дыбай, нашъ боже!». Натягивая мысль на дыбу подобныхъ доводовъ, можно будетъ доказать самобытность не только малороссійского или белорусского языка, а пожалуй юстремского или пошехонскаго! Обратимся къ тому, что дѣйствительно можетъ имѣть видъ какого-нибудь вѣроятія. Церковно-славянскій языкъ, сдѣлавшись со временемъ введенія христіанства письменнымъ словомъ во всѣхъ концахъ русской земли, долго оставался у насъ языкомъ литературнымъ, и хотя съ теченіемъ времени онъ измѣнялся отъ влиянія живой рѣчи; но это измѣненіе было не такъ значительно, чтобы по памятникамъ церковно-славянской письменности можно было определить теперь, въ какой степени въ первые вѣка нашей литературы южное нарѣчіе отличалось отъ сѣверного. Несмотря на то, и здѣсь многое говоритъ противъ возможности допустить въ то время различіе малорусского нарѣчія отъ общаго русскаго языка. Несторъ жилъ и писалъ свою лѣтопись въ Киевѣ, средоточіи всего края нашего южнорусскаго племени. Извѣстно, что его сказанія писаны не на томъ чистомъ церковно-славянскомъ языкѣ, который мы находимъ въ Остромировомъ Евангелии, но въ рѣчи его встрѣчается не мало выражений народныхъ;—и все эти выраженія, все эти его невольные русизмы—въ характерѣ чисто-русскаго языка, а не нынѣшнаго малорос-

сійского нарѣчія. Еслибы въ то время въ южной Россіи былъ нетолько самостоятельный языкъ; но даже замѣтно отдѣлявшееся нарѣчіе, то возможно-ли, чтобы во всей лѣтописи, при неполномъ знакомствѣ Нестора съ языкомъ церковно-славянскимъ, въ сочиненіе его не вошло никакихъ мѣстныхъ словъ и оборотовъ, кромѣ одной, да и то сомнительной, фразы—«вызыбай, боже!» Простой здравый смыслъ показываетъ, что малороссійское нарѣчіе должно было-бы отразиться въ несторовой лѣтописи, еслибы оно только въ то время существовало. А между-тѣмъ мы не находимъ у него ни малѣйшей разницы съ сѣверными памятниками литературы того времени, напримѣръ съ Русской Правдой, и только съ XV вѣка въ языке лѣтописей кіевской и волынской начинаетъ обнаруживаться различіе отъ языка лѣтописей псковской и новгородской. Еще болѣе яснымъ доказательствомъ служитъ Слово о Полку Игоревѣ. Написанное въ концѣ XII вѣка на русскомъ народномъ языкѣ съ незначительной примѣсью церковно-славянского, да и то можетъ-быть подбавленной позднѣйшими переписчиками, оно принадлежитъ тому краю, где должно было господствовать малороссійское нарѣчіе; а между-тѣмъ въ этомъ сочиненіи мы не находимъ элементовъ особаго южнаго языка, за исключеніемъ немногихъ отдѣльныхъ словъ. И эти незначительныя особенности нетолько не даютъ права думать, что языкъ этого памятника отличенъ отъ русскаго, какъ напримѣръ языкъ Краледворской Рукописи, но даже не позволяютъ подозревать въ немъ и особаго нарѣчія. Это съ ничтожными уклоненіями тотъ-же языкъ, какой мы видимъ и въ Русской Правдѣ: въ настоящее время онъ гораздо доступнѣе русскому, чѣмъ малороссю. Развѣ такъ долженъ быль-бы отразиться въ этомъ чисто-народномъ и патріотическомъ произведеніи особый языкъ,

еслибы онъ дѣйствительно былъ въ южной Россіи не только до начала государства, но даже въ первые вѣка нашей исторіи?

Наконецъ противъ украинофиловъ говоритьъ и нашъ древній народный эпосъ. Весь южно-русскій циклъ эпическихъ былинъ, въ которыхъ воспѣвается князь Владиміръ-Красное-Солнышко и его богатыри, перешелъ къ намъ почти цѣликомъ на общерусскомъ языке, за исключеніемъ немногихъ чисто-малороссійскихъ думъ,— и все это по языку нисколько не отличается отъ сѣверного цикла пѣсенъ про Василья Буслаевича или Садко Богатаго. Правда, языкъ чисто-новгородскихъ памятниковъ составляетъ у насъ какъ-бы переходное нарѣчіе отъ великорусскаго къ малороссійскому, подобно тому какъ въ Германіи нарѣчіе тюрингенское было чѣмъ-то среднимъ между верхне-нѣмецкимъ и нижне-нѣмецкимъ; но это значеніе новгородской рѣчи опредѣлилось гораздо позднѣе, при отклопеніи южно-русскаго говора отъ сѣвернаго въ татарско-польскій періодъ раздѣленія Россіи. Какъ-же можно допустить, чтобы героическая сказанія о Владимірѣ, въ которыхъ, вмѣстѣ съ выходцемъ изъ восточной Руси Илью Муромцемъ, мы находимъ и кievлянина Добрыню Никитича, и уроженца дальнаго юга Дуная Ивановича, выразились на нарѣчіи отдаленнаго края, а не на томъ языкѣ, который былъ въ самомъ мѣстѣ событий, еслибы этотъ языкъ существовалъ тогда въ видѣ особаго, рѣзко-отличнаго нарѣчія? Такимъ-образомъ не мелочное корне-словіе, не педантическія наташки, а положительные факты показываютъ, что до татарскаго періода во всей Россіи былъ одинъ русскій языкъ, съ такими незначительными отѣнками на югъ и сѣверъ, какія и теперь встрѣчаются въ разныхъ мѣстностяхъ русской земли, напримѣръ въ Псковѣ или Смоленскѣ. До того времени ни имя Мало-

рощи, ни ея нынѣшній говоръ не были совсѣмъ извѣстны — была одна русская земля, одинъ русскій языкъ, однѣ и тѣ же пѣсни и сказки.

Но съ конца XIV вѣка, по различію историческихъ судебъ, народный говоръ сѣверной и южной Россіи началъ мало-по-малу раздѣляться. Новгородская область меньше всего пострадала отъ иноплеменного порабощенія, а потому и языкъ ея меныше измѣнился, и теперь народная рѣчъ этой мѣстности ближе всего подходитъ къ тому общему языку, которымъ говорили во всей Россіи до конца XIV столѣтія. Почти свободный отъ татарскаго гнета, Новгородъ не видалъ въ своихъ предѣлахъ этихъ порабителей, которые больше двухъ вѣковъ тяготѣли надъ остальной Русью, а по отдаленности своей и независимости въ церковномъ управлѣніи все болѣе ослаблялъ свои связи съ южной областью. По этому-то и въ письменномъ, и въ народномъ языкѣ своихъ пѣсенъ онъ удержалъ тотъ строй, какимъ отличался въ древности языкъ всего русскаго народа, и оттого даже теперь онъ составляетъ нѣкоторымъ образомъ средній элементъ между великорусскимъ и мало-рussiйскимъ нарѣчиемъ. Между-тѣмъ внутренняя и восточная Россія были надолго покорены татарами, а южная и западная подчинились Литвѣ и Польшѣ. Эти события очевидно не могли пройти безслѣдно ни для восточной, ни для южной Руси. Гдѣ-же, спрашивается, должно было чужое вліяніе болѣе отразиться на языкѣ? Внутренняя и восточная Россія долго была въ зависимости отъ монголовъ, но эта зависимость ограничивалась, какъ извѣстно, тѣмъ только, что татары обложили Россію данью, требовали покорности и подарковъ отъ князей, утверждали ихъ на престолахъ и опустошали ихъ удѣлы набѣгами и вторженіями, при неплатежѣ ордынского выхода, несогласіяхъ и интригахъ са-

михъ князей. Частію по привычкѣ къ кочевой жизни въ азіятскихъ стенахъ, а можетъ-быть и изъ опасенія вызвать болѣе отчаянныи отпоръ, они почти не покушались водвориться внутри русской земли, кромѣ попытки въ Твери; а потому зависимость Россіи, при грубости и необразованности поработителей и поселеніи ихъ на дальней окраинѣ, была можно сказать только внѣшняи—и русскій языкъ не могъ значительно измѣниться отъ вліянія языка татарского. Конечно, принимая въ продолженіе двухъ съ половиной вѣковъ кое-какіе элементы могольской рѣчи, онъ не могъ сохранить первобытной чистоты, какъ въ Новгородѣ, но и не долженъ бытъ въ такой степени отклониться отъ нея, чтобы сдѣлаться особымъ нарѣчіемъ, а тѣмъ менѣе особымъ языкомъ, отличнымъ отъ новгородскаго. Не такова была судьба русскаго языка на югѣ. Находясь съ одной стороны въ постоянныхъ сношеніяхъ по дѣламъ церкви съ Греціей черезъ Болгарію, а съ другой стороны въ близкомъ сосѣдствѣ съ могущественной въ то время Польшей, южная Россія подверглась гораздо большему вліянію посторонней силы. Ей грозило не столько порабощеніе материальное, сколько нравственное. Не прошло ста лѣтъ послѣ татарскаго погрома, какъ Галиція отопла къ Польшѣ, Кіевъ съ Волынью, а потомъ и Черниговъ съ Сѣверскимъ-княжествомъ къ Литвѣ, а въ концѣ XIV вѣка всѣ эти обширныя земли вошли въ составъ Польскаго-королевства. И поляки дѣйствовали въ порабощенной странѣ иначе, чѣмъ моголы. Образованная и католическая Польша не могла смотрѣть на присоединенный край съ азіатскимъ равнодушіемъ; южные русскія земли начали наводняться рѣянными проповѣдниками папизма, выходцы принялись захватывать земли, строить костелы, распространять пропаганду, и часть русскаго народа подчинилась этому вліянію,

которое и съ возвращенiemъ Малороссіи въ составъ общаго отечества не переставало дѣйствовать, замѣнивъ только орудіе насилия болѣе тонкими средствами обольщенія. Хотя народная масса, за исключенiemъ окатоличеннаго дворянства, устояла отъ этого пятивѣковаго гнета и сохранила свою вѣру и національность, но не могла-же эта долгая зависимость отъ просвѣщенной націи, зараженной духомъ прозелитизма, не оставить глубокихъ слѣдовъ на языке южнаго края. И дѣйствительно, въ то время, когда письменность раздѣлилась въ Малороссіи между языками церковно-славянскимъ и латинскимъ, народный русскій языкъ въ этой странѣ началъ измѣняться, подъ вліяніемъ съ однай стороны польскаго, а съ другой болгарскаго, въ которому народъ таготѣль, отставая свою вѣру; и такимъ-образомъ, принимая изъ нихъ слова и обороты, южнорусская рѣчь все болѣе и болѣе отклонялась отъ своего первообраза, языка новгородскаго, и становилась особымъ нарѣчіемъ, которое теперь разнится отъ общерусскаго языка и во флексіяхъ, и въ синтаксическомъ строѣ, и въ произношеніи. Все это совершилось на исторической памяти, было естественнымъ послѣдствиемъ событій—и все показываетъ, что малороссійский говоръ не составлялъ особаго языка до эпохи татарскаго нашествія и теперь не что иное, какъ провинціальное нарѣчіе, сложившееся въ одной части русской земли, какъ уэльзкое нарѣчіе въ Англіи или піемонтское въ Италиі. Вотъ почему Бѣлинскій правъ, говоря, что въ настоящее время малороссійскаго языка нѣть, а есть только провинціальное южнорусское нарѣчіе.

До настоящаго столѣтія никто въ Малороссіи и не пытался создать изъ провинціального нарѣчія особый языкъ для литературы и науки. Было время, и очень продолжительное, когда Кіевъ стоялъ въ главѣ русскаго образова-

нія, давалъ направлениe всей умственной и литературной жизни въ нашемъ отечествѣ. Съ присоединенiemъ къ образованной Польшѣ, въ югозападномъ краѣ явились учебные заведенія, въ то время когда въ великой Россіи не было вовсе училищъ, и потому въ дѣлѣ просвѣщенія онъ значительно опередилъ Москвию. Въ XVI столѣтіи, когда въ Москвѣ только-что затрогивали вопросъ о необходимости училищъ для духовенства, въ средѣ котораго было не мало людей безграмотныхъ, въ южномъ краѣ нѣтолько были народныя школы, но открылось даже и высшее учебное заведеніе, киевская Могилянская Коллегія, устроенная по образцу европейскихъ академій. Тамъ преподавали уже ариѳметику, реторику, философию, богословіе, языки славянскій, латинскій и греческій, изучали Аристотеля, Цицерона, Фому Аквитанскаго. И на какомъ-же языкѣ выражалась вся эта учебная и ученая дѣятельность? Науки, согласно схоластическому устройству заведенія, преподавались, какъ и по всей почти Европѣ, на языкѣ латинскомъ; духовныя слова, поученія и поздравительныя рѣчи писались по церковно-славянски, а стихи польско-силлабическаго размѣра составлялись на особомъ книжномъ языкѣ, изъ смѣси церковно-славянскаго съ чисто-русскимъ нарѣчіемъ и отчасти съ малороссійскимъ. Въ Могилянской Академіи сосредоточилась вся умственная жизнь русской земли. И что-же сдѣлалъ Кіевъ въ продолженіе своего полутораувѣковаго нравственнаго преобладанія въ отношеніи къ обработкѣ народнаго южнорусскаго нарѣчія, которое тогда отличалось отъ общерусскаго языка? Внесъ-ли онъ въ это нарѣчіе хоть какія-нибудь начала, способныя образовать изъ него самостоятельный языкъ литературный и ученый? Передалъ-ли онъ съ другой стороны какія-нибудь стихіи этого южнорусскаго нарѣчія въ общий русскій

языкъ, въ то время, когда кіевское образованіе начало разливаться на всю Россію, когда толпа южнорусскихъ ученыхъ, вызванныхъ Ртищевымъ, основала въ московскомъ Андроньевомъ-монастырѣ что-то въ родѣ Академіи-наукъ. Думалъ-ли онъ сколько-нибудь о научномъ и литературномъ значеніи своего народнаго нарѣчія въ то время, когда съ основаніемъ Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ южная Россія выслала цѣлую фалангу даровитыхъ людей, имѣвшихъ огромное влияніе на ходъ образованія въ Россіи? Нисколько! Всѣ эти малороссійские ученые: Епифаній Славинецкій, Симеонъ Цолоцкій, Іоанникій Голятовскій, Антоній Радивиловскій, Лазарь Бараповичъ, Дмитрій Ростовскій, Феоѳанъ Прокоповичъ—никогда не думали и не дѣлали ни малѣйшей попытки придать малороссійскому нарѣчію значеніе ученого-литературного языка, а всѣ писали частію по-латыни и по-польски, а больше на особомъ книжномъ языкѣ, въ который, при огромной массѣ великорусскихъ элементовъ, слова и обороты малороссійские входили не съ преднамѣренной цѣлью, а только вслѣдствіе не совершенно полнаго знанія московскаго нарѣчія. Отчего-же это? Конечно, частію оттого, что въ то время на Украинѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, не сознавали важности живаго нарѣчія, которымъ говорилъ народъ, но еще болѣе потому, что сами ученые должны были чувствовать, что малороссійский говоръ есть только мѣстное нарѣчіе, неспособное по ходу историческихъ обстоятельствъ сдѣлаться языкомъ литературнымъ. И вотъ полтора вѣка преобладанія Киева въ умственной и литературной дѣятельности ровно ни къ чему не послужило для малороссійского нарѣчія, а напротивъ доказало наглядно его мѣстное провинциальное значеніе. И едва только первыя начала образования утвердились въ Москвѣ и Славяно-греко-латинская

Академія выпустила первыхъ воспитанниковъ, какъ Тредьяковскій, Кантемиръ, Ломоносовъ, воспитанные въ томъ-же схоластическомъ направленіи, какъ и кіевскіе ученые, бросили церковно-славянскую рѣчь и занялись обработкой господствующаго нарѣчія, сближая его съ языкомъ общенароднымъ. Это зависѣло не отъ одного государственного преобладанія Москвы, но вмѣстѣ и оттого, что великорусская рѣчь была не провинціальнымъ нарѣчіемъ, какъ малорусская, а языкомъ великой страны, вступившей въ новый періодъ умственной жизни. И вотъ со всѣхъ концовъ русской земли, изъ Малороссіи и Бѣлоруссії, все истинно талантливое обращается къ возникающей русской литературѣ и выражается на общемъ русскомъ языке. Очевидно, что если малороссійское нарѣчіе не выработалось въ особый литературный языкъ во время умственного преобладанія края надъ остальной Россіею, то въ будущемъ это сдѣжалось совершенно немыслимымъ.

Украинцы, говоря о возможности развитія своего нарѣчія, спрашиваютъ: неужели одному русскому языку принадлежить у насъ монополія быть проводникомъ образованности и органомъ науки? Да, безъ сомнѣнія теперь общерусскому языку принадлежитъ эта монополія во всей русской землѣ. Эту монополію далъ ему не кружокъ патріотовъ, а ходъ самой исторіи, какъ англійскому языку передъ шотландскимъ, какъ итальянско-флорентинскому предъ піемонтскимъ и неаполитанскимъ. Этимъ малороссы не могутъ оскорбляться. Въ исторіи мы не находимъ малороссійскаго народа и малороссійскаго языка, точно также, какъ не находимъ бѣлорусского или сибирскаго народа, а знаемъ одинъ только русскій народъ съ племенными нарѣчіями бѣлорусскимъ и малороссійскимъ. На этихъ провинціальныхъ нарѣчіяхъ есть народныя пѣсни и сказки,

есть нѣсколько поэтическихъ сочиненій, написанныхъ въ послѣднее время, но нѣть литературы. И что такое теперь малороссійскій литературный языкъ, на которомъ въ нынѣшнемъ столѣтіи появились сочиненія въ Украинѣ? Въ настоящемъ малороссійскомъ нарѣчіи сами украинцы находятъ столько вѣтвей и подраздѣленій, что чуть не въ каждой губерніи представляется теперь особый говоръ. Что-же это, скажите, за языкъ, въ которомъ вы сами путаетесь до такой степени, что постороннему человѣку трудно рѣшить, кого признать компетентнымъ въ дѣлѣ? Мы помнимъ, напримѣръ, какъ одинъ изъ сотрудниковъ «Основы» плакался на то, что каждый изъ украинскихъ литературныхъ дѣятелей знаетъ только одно или два нарѣчія, а не весь малороссійскій языкъ въ полномъ его объемѣ. Вероятно, многіе не забыли, что Кулишъ обвинялъ Гоголя въ незнаніи Малороссіи и въ неточномъ употребленіи ея народнаго языка. Въ то-же время Шейковскій, издатель южнорусскаго словаря, доказывалъ, что самъ Кулишъ не понимаетъ настоящаго народнаго малороссійскаго языка и пишетъ на немъ какъ Тредьяковскій, а Гатцукъ обвинялъ въ незнаніи этого-же языка Шейковскаго. Подобныя мнѣнія высказывались и противъ Квитки, ихъ не избѣгъ на конецъ и самъ Шевченко. Что-же это за недоступный языкъ и можетъ-ли онъ быть въ настоящее время органомъ литературы и европейской науки? Мы-бы попросили украинскихъ патріотовъ попробовать перевести на этотъ литературный языкъ, не говоримъ уже какихъ-нибудь европейскихъ писателей, но хоть напримѣръ болѣе капитальныя сочиненія Гоголя или исторические этюды Костомарова. Нужно много ученой и литературной обработки, чтобы на малороссійское нарѣчіе можно было передать многія сочиненія самихъ-же малороссовъ. Теперь посмотримъ,

что такое эта прославляемая украинцами малороссійская литература.

Народная малороссійская поэзія на мѣстномъ нарѣчіи начинается съ развитіемъ на Украинѣ казачества, то-есть не ранѣе XVI столѣтія. При эстетическихъ достоинствахъ, обиліи прекрасныхъ картинъ южнорусской природы и художественномъ воспроизведеніи сторонъ жизни, эта поэзія обнимаетъ и историческую судьбу, и бытовой характеръ страны, въ борьбѣ съ политическими врагами и притѣснителями ея вѣры и народности. Кромѣ лирики, въ украинской поэзіи есть и свой эпосъ, порожденный эпохой казачества. Въ древнѣйшихъ малороссійскихъ думахъ воспѣваются подвиги украинскихъ казаковъ въ походахъ на Турцію, многочисленныя битвы на Дунаѣ и Черномъ-морѣ, удалые подвиги Свирговскаго, Вишневецкаго и другихъ предводителей. Затѣмъ начинается другой циклъ народныхъ думъ, въ которомъ отразилась кровавая борьба казаковъ съ Польшей за народность и вѣру, гдѣ выдвигаются личности Наливайко, Повтора-Кожуха и Хмѣльницкаго. Наконецъ послѣдняя позднѣйшія пѣсни выражаютъ эпоху упадка и перерожденія казачества, съ присоединеніемъ Малороссіи къ общему отечеству. Кто сколько-нибудь знакомъ съ этой поэзіей, тотъ не станетъ отрицать ея достоинства, но въ то-же время согласится, что это поэзія исключительно казацкая, которая возникла съ казачествомъ и вмѣстѣ съ нимъ умерла. Это былъ стешной цветокъ вольной Украины, который неизбѣжно долженъ былъ занянуть, какъ скоро край вошелъ въ иныхъ условія политической и общественной жизни, когда кончились запорожские набѣзы на Турцію и борьба съ Польшею. Эта казацкая поэзія точно-также относится къ русской литературѣ, какъ народные пѣсни на неустановившихся гер-

манскихъ нарѣчіяхъ или бретонскія баллады въ Уэльзѣ относились къ литературамъ англійской и нѣмецкой. Вездѣ, съ успѣхами образованія и сплоченіемъ племенъ, такія пѣсни прекращались и уступали мѣсто настоящей литературы. То-же явленіе было и въ сѣверной Россіи. Стало быть народная украинскія пѣсни по своему содержанію, какъ выраженіе минувшей исторической эпохи, вовсе не могутъ быть источникомъ какой-то новой, самобытной малороссійской литературы, не въ состояніи дать ей ни содержанія, ни формъ.

Кромѣ этой народной поэзіи, которая жила только казачествомъ и его воспоминаніями, въ Малороссіи, какъ мы видѣли уже, не было никакой другой литературы. Книжный языкъ, какъ въ отдаленной древности, такъ и послѣ раздѣленія Руси на великую и малую, былъ въ томъ и другомъ краю одинаковый, т. е. представлялъ смѣсь языка церковно-славянского съ общерусскимъ. Почти всѣ южнорусскія сочиненія въ XVI и XVII столѣтіяхъ писаны тѣмъ же самымъ языкомъ, какъ писали въ то время въ Москвѣ. Въ комедіяхъ Симеона Полоцкаго о «Новуходоносорѣ» и «Блудномъ Сынѣ» силлабические вирши сложены на языкѣ полуславянскомъ, полумосковскомъ. Пьесы Дмитрія Ростовскаго «Воскресеніе Христово», «Грѣшникъ Кающійся» писаны были въ Малороссіи, и между тѣмъ онѣ еще болѣе, чѣмъ у Полоцкаго, отличаются великорусскимъ элементомъ, народными словами чисто-московскаго нарѣчія. Если же въ письменныхъ сочиненіяхъ малороссійскихъ писателей, до начала нынѣшняго столѣтія, изрѣдка и попадаются слова изъ мѣстного южнаго нарѣчія, то это зависѣло единственно отъ неумѣнья найти слова чистославянскія или русскія, а вовсе не отъ намѣренія образовать самобытную литературу на провинціальномъ языкѣ. Такимъ - образомъ

до настоящаго столѣтія въ Українѣ, кромѣ народныхъ пѣсень и думъ, не было на малороссійскомъ нарѣчіи по-чти никакой литературы, и представители южнорусскаго племени постоянно примыкали къ общенародной жизни и къ ея умственному движению. Самые популярные и талантливые люди изъ малороссовъ не думали причислать себя къ какому-то особому народу и мечтать о какой-то особой литературѣ: известный украинскій філософъ Григорій Сковорода въ своихъ сочиненіяхъ говоритъ постоянно о «русскомъ человѣкѣ», о «русскомъ народѣ». Словомъ, до настоящаго вѣка отъ самихъ малороссовъ никто не слыхалъ о народѣ или языке малороссійскомъ.

Но когда Котляревскій, съ свойственнымъ малорусскуму племени юморомъ, передѣлалъ ради шутки Энейду въ комическую поэму и началъ писать оперетки, въ-половину на русскомъ, въ-половину на мѣстномъ провинціальномъ нарѣчіи—эти опыты сильно подѣйствовали на украинцевъ. Между-тѣмъ содержаніе и складъ сочиненій Котляревскаго вовсе не обнаруживали претензій на литературный сепаратизмъ: обращаясь къ элементу народному, они не менѣе того примыкали и къ элементу общерусскому, сколько принадлежали Малороссії, столько-же относились и къ русской литературѣ. Экземпляры хохлацкой Энейды нѣтолько распространялись на югѣ, но проникли во внутреннюю Россію и часто встрѣчались въ семействахъ чисто русскихъ. «Наташка Полтавка» и особенно «Москаль Чаривникъ» сдѣлались достояніемъ русской сцены и пользовались на ней едва-ли не большимъ успѣхомъ, чѣмъ въ самой Малороссії. Послѣдній водевиль и теперь держится на репертуарѣ петербургскаго театра. Успѣхъ этихъ милыхъ, игравыхъ шутокъ вызвалъ попытки писать на малороссійскомъ нарѣчіи и въ другихъ родахъ. Явились повѣсти

Основьяненко «Маруся», «Салдацькій патреть» и также нашли читателей не въ одной Малороссіи: это были легкие очерки мѣстного быта, характеристическая черты провинціальныхъ нравовъ, граціозныя особенности племенныхъ малорусскихъ обычаевъ, живая и поэтическая картины южнорусской природы. И успѣхъ ихъ былъ вполнѣ заслуженный. Но не смотря на эти опыты, въ то-же время люди съ болѣе обширнымъ дарованіемъ, смотрѣвшіе шире на жизнь и литературу, чувствовали, что мѣстное нарѣчіе способно на однѣ легкія вещи, но никогда не можетъ сдѣлаться языкомъ литературнымъ. Иначе и не могло быть, вслѣдствіе историческихъ судебъ края, односторонняго значенія его народной поэзіи и провинціального характера мѣстного нарѣчія.

Племенная жизнь отдельной провинціи нигдѣ не создавала самобытной литературы; не могла создать ее и настоящая жизнь Малороссіи, въ которой съ перерожденіемъ казачества не осталось самобытныхъ элементовъ, вѣнчавшихъ началъ русской жизни, кроме однихъ мѣстныхъ преданій, провинціальныхъ обычаевъ и воспоминаній о давно отжившей старинѣ. Вотъ почему обширному литературному дарованію въ Малороссіи становилось душно въ тѣсномъ кругу провинціального воззрѣнія. Все истинно талантливое неизбѣжно тяготѣло къ общей русской жизни, къ русскому литературному языку и къ общей нашей литературѣ. Цѣлая толпа даровитыхъ представителей новой русской литературы вышла изъ Украины, и всѣ эти писатели или съ первого шага обращались къ русскому языку, какъ Гнѣдичъ и Нарѣжный, или послѣ пѣсколькихъ опытовъ на мѣстномъ нарѣчіи неизбѣжно примыкали къ общей литературѣ, какъ Основьяненко, Гребенка и наконецъ Гоголь. Это обращеніе лучшихъ талантовъ Украины къ общерусской ли-

тературної діяльності було понятно і естественно: оно происходило не отъ недостатка сочувствія ихъ къ мѣстному элементу, не отъ равнодушія или пренебреженія къ родной странѣ, не отъ чуждаго искусственнаго воспитанія или отъ желанія имѣть большій кругъ читателей; но отъ недостатка литературныхъ элементовъ въ бытовой жизни племени, отъ тѣсноты мелкой провинціальной среды, отъ сознанія возможности одного только литературнаго языка, отъ убѣжденія наконецъ въ томъ, что читающая публика есть общая публика русская. При всей любви къ Малороссіи, при сочувствіи къ ея поэтическимъ преданіямъ, къ ся прекрасной поэзіи старины, истинно талантливые украинскіе писатели понимали, что примыкала неразрывно къ общему русскому отечеству, отъ котораго ихъ родина оторвана была въ печальный періодъ исторіи, она въ будущемъ не можетъ жить отдѣльной, самостоятельной жизнью, и отнынѣ умственная діяльность України должна также сливаться съ общерусскою діяльностію, какъ слились обѣ страны въ отношеніи политическомъ. Всѣ здраво понимающіе дѣло видѣли, что малороссійские писатели, обращаясь къ общерусскому языку, вносятъ новые элементы въ нашу литературу и сами съ другой стороны почерпаютъ въ ней живительные силы, какихъ никогда не въ состояніи дать узкая среда провинціального быта. Эти люди поняли, что малороссійская народная поэзія точно также относится къ русской литературѣ, какъ и русская народная поэзія пѣсенъ, сказокъ и былинъ, что онѣ могутъ вносить народные элементы въ общую литературу, одухотворять ее живымъ элементомъ народного міросозерцанія, но въ то-же время должны слиться въ общемъ источникеъ русской мысли и литературы, и при такомъ только единствѣ можно ждать отъ нея высокаго развитія. Это выразилось въ важнѣйшемъ

представитель нашей новейшей литературы, Гоголь: взгляни онъ на ея значеніе съ племенной точки зрења, и кругъ его творчества неизбѣжно съузился бы, лучшія повѣсти его погибли бы въ мелкой средѣ провинціальнаго возврѣнія. Не обратись онъ къ общерусскому міросозерцанію, къ общему русскому языку, и ограничясь своимъ провинціальнымъ нарѣчіемъ, онъ нѣтолько не создалъ бы такихъ народно-художественныхъ произведеній, какъ «Ревизоръ» и «Мертвые Души», и не написалъ бы лучшаго нашего исторического романа «Тараса Бульбу», но самая его чисто-малороссійская повѣсті, какъ напримѣръ „Вій“ или „Ночь на Рождество Христово“, едва-ли могли бы сложиться въ томъ видѣ и съ той полнотою мысли и выраженія, какъ они написаны по-русски. И это не оттого, что малороссійское нарѣчіе не могло передать въ той-же красотѣ ихъ сказочнаго содержанія, но потому, что какъ всякий провинціализмъ, оно не въ состояніи дать произведенію того общаго колорита, какимъ отличаются отъ простонародныхъ разсказовъ созданія художественно-литературныя. Доказательствомъ того, что провинціальная среда и мѣстное нарѣчіе не въ состояніи дать широкаго взгляда, а напротивъ сдавливаютъ и задушаютъ всякое дарование, служатъ прославленные «Оповиданія» Марка Вовчка. Не смотря на дарование писательницы, извѣстной подъ этимъ именемъ, на ея искренность въ разсказѣ и даже нѣкоторую художественность въ компоновкѣ характеровъ и положеній, — какая у нея бѣдность въ содержаніи, отсутствіе жизненнаго міросозерцанія, однообразіе [въ основной идеѣ, монотонность въ изложеніи и наконецъ какая во всемъ провинціальная мелкость и сантиментальность! Прочтя одинъ или два разсказа ея про какую-нибудь малороссійскую «Бѣдную Лизу» или хохлацкаго селадона, вы

уже вполнѣ знаете всѣ мотивы остальныхъ ея повѣстей. Всякій новый разскazъ ея только пересказъ прежняго; это не новая картина, но тотъ - же самый эскизъ съ другой и притомъ очень близкой точки зрењія. И все это вращается въ одномъ узкомъ кругу, въ объемѣ одного только вопроса, въ добавокъ теперь исчерпанного и отжившаго. Читать новые разсказы этой писательницы также утомительно, какъ слушать двадцать разъ къ ряду, съ ничтожными варіантами, одну и ту-же сказку, пересказывающую въ одномъ тонѣ и тѣмъ-же складомъ.

Но защитники самобытной украинской литературы спросятъ настъ: почему мы забываемъ Шевченко? Мы его не забыли, но оставили нарочно подъ конецъ, какъ самое убѣдительное доказательство, что новая украинская литература невозможна. Шевченко безъ всякаго сомнѣнія одинъ изъ значительныхъ поэтическихъ талантовъ, какие только произвела Малороссія. Это поэтъ съ обширнымъ дарованіемъ, возникшій изъ среды чисто-народной жизни и отразившій въ себѣ всѣ возможные ея элементы. Но посмотримъ, велись-ли объемъ содержанія его поэзіи и въ чемъ состоитъ его поэтическое міросозерданіе? Съ полнымъ уваженіемъ къ дарованію важнѣйшаго представителя Украины, мы скажемъ откровенно свое мнѣніе.

Партія новѣйшихъ укранинофиловъ, въ понятномъ удивленіи къ таланту своего земляка, увлеклась до-того, что ставить Шевченко на ряду съ Пушкинымъ, Гоголемъ и даже съ величайшими геніями общеевропейскими, чуть не съ Шекспиромъ. Не говоря уже о нелѣности послѣдняго сравненія, мы находимъ чрезвычайно безразсуднымъ сближать Шевченко съ Пушкинымъ. Можетъ-ли это прийти въ голову человѣку, не ослѣпленному мелкими претензіями провинціального патріотизма? Можно-ли, разсуждая спо-

койно, не видѣть огромной разницы между содержаніемъ Пушкина и Шевченко? Пушкинъ, кромѣ самой разнообразной лирики, является намъ и драматургомъ въ «Борисѣ Годуновѣ» и «Каменномъ Гостѣ», и живописцемъ всѣхъ слоевъ современной жизни въ Онѣгинѣ, и великимъ романристомъ въ «Капитанской Дочкѣ»; въ его поэзіи нашлись отзывы Данту и античному миру Греціи, восточной поэзіи и испанской жизни, русской народности и байроновскому скептицизму,—и во всемъ этомъ отразилась великая самобытная личность, въ которой сосредоточилась живая дѣйствительность, во всю глубину исторической и во всю ширину современной жизни. Каково же содержаніе поэзіи Шевченко?

Что касается до его драматическихъ опытовъ, въ родѣ «Назара Стодоля», то по собственному отзыву самихъ украинцевъ, они не заслуживаютъ вниманія и даже не имѣютъ мѣстного значенія въ самой Малороссіи. Всѣ остальные сочиненія Шевченко состоятъ изъ лирическихъ пѣсень, какъ его Кобзарь, или изъ поэмъ и повѣстей, каковы «Гайдамаки» и «Наймичка». Какие же въ нихъ выразились мотивы и какое поэтическое міросозерцаніе? Перечитывая пѣсни Кобзаря, вы ясно видите, что это ничто иное, какъ поэзія воспоминанія, послѣдніе отголоски старой жизни въ народной украинской поэзіи: это тѣ-же жалобы наболѣвшаго сердца, тоскливыя мечты и воспоминанія о былой жизни. Тутъ не сказалось ровно ничего нового, ничего такого, что давно не высказалось-бы у старыхъ кобзарей. При большей силѣ поэтическаго таланта, при большей глубинѣ и теплотѣ чувства, вы находите здѣсь то-же ограниченное міровоззрѣніе, какъ и въ народныхъ украинскихъ пѣсняхъ. И это, повторяемъ, не отъ ограниченности таланта, а только отъ положительной невозможности найти новые мотивы, не выходя изъ узкой колеи провинціального

быта въ широкое русло общенародного воззрѣнія. Эпическія сочиненія Шевченко подтверждаютъ это еще лучше и яснѣе. Что такое «Гайдамаки»? Это поэтическое воспоминаніе о былой эпохѣ казачества, произведеніе безспорно высоко-талантливое; но въ немъ не отозвалось никакихъ новыхъ мотивовъ послѣ тѣхъ, въ которыхъ это казачество выразилось въ своихъ старыхъ украинскихъ думахъ: это какъ-будто одна изъ тѣхъ-же думъ, вновь отысканная въ памяти народа и только пропѣтая съ большей художественностью. И какъ скоро Шевченко перешелъ отъ былыхъ воспоминаній казачества къ современной украинской жизни, онъ не могъ найти для своей поэзіи никакихъ сюжетовъ, кроме судьбы Наймички, основанной на мотивѣ, почти не имѣющемъ практическаго смысла въ дѣйствительности, да и на томъ отпечатался еще какой-то искусственно-сантиментальный характеръ, придающій разсказу значеніе крайне-исключительное. Такимъ-образомъ вся поэзія Шевченко—или думы о быломъ и невозвратно отжившемъ казачествѣ, или такія явленія современности, которые составляютъ исключенія изъ общаго хода русской жизни. При всей значительности таланта, содержаніе этой поэзіи бѣдно и односторонне, и сравнивать Шевченко съ Пушкинымъ такъ-же странно, какъ ставить напримѣръ «Москаль-Чаривника» на ряду съ «Ревизоромъ» Гоголя или оперой Глинки.

Извѣстно, что Шевченко пробовалъ писать и на русскомъ языкѣ, но его «Тризна» не произвела никакого впечатлѣнія и не можетъ имѣть ни малѣйшаго значенія въ нашей литературѣ. Крайніе украинофилы говорятъ, будто это обстоятельство доказываетъ, что русскій языкъ прішелся не по натурѣ Шевченко и только въ одномъ родномъ языкѣ малороссійскомъ была жизненная сила для такого истинно-народнаго поэта. На самомъ дѣлѣ мы ви-

димъ тутъ другія причины. Чѣмъ могъ сказать Шевченко при своемъ исключительно племенномъ міросозерцаніи, послѣ разнообразной поэзіи Пушкина, послѣ глубоко-дѣйствительныхъ и широкихъ по идеѣ произведеній Гоголя? Недѣлача его въ русской литературѣ, кромѣ исключительного и страстнаго влеченія къ чисто - малороссійской средѣ, объясняется самимъ родомъ его дарованія.

Мы говорили уже, что Гоголь, по свойству своего широкаго таланта и глубинѣ общерусскаго воззрѣнія, послѣ первыхъ опытовъ на малороссійскомъ нарѣчіи, почувствовалъ тѣсноту провинціальной среды, узкія формы мѣстнаго нарѣчія и невольно перешелъ къ руской литературѣ, гдѣ съ первого шага стала на ту высоту, съ которой легко и свободно было развернуться его разностороннему дарованію въ народной сказкѣ, и въ историческомъ романѣ, и въ современной драмѣ. Напротивъ Шевченко, обращаясь къ русскому языку, неизбѣжно оторвался отъ исключительно мѣстной почвы, гдѣ только могъ созрѣть и выростi прелестный цвѣтокъ его народной, чисто провинціальной поэзіи, и онъ въ средѣ русской литературы не нашелъ того воздуха, который одинъ могъ дать жизнь этому чисто-мѣстному растенію. Понятно, что онъ по необходимости долженъ былъ обратиться туда, гдѣ ему легко и свободно было дышать. Подобный примѣръ мы видѣли раньше и въ нашей литературѣ, въ лицѣ Кольцова, котораго по нашему мнѣнію скорѣе, чѣмъ кого-нибудь другаго, можно поставить на ряду съ Шевченко, если только нужны подобныя сопоставленія. Кольцовъ также вышелъ изъ среды народа и притомъ почти въ той же полосѣ Россіи, такъ-же былъ питомцемъ нашихъ южныхъ степей, и подобно Шевченко, выразилъ бытовую жизнь великорусского племени въ народно-художественной пѣснѣ. Но едва только обратился онъ къ

обще-литературиымъ мотивамъ, едва оторвался отъ своей народной среды и своего чисто-народнаго языка, какъ все обаятельное значеніе его поэзіи потерялось, и онъ исчезъ бы въ толпѣ дюжинныхъ стихотворцевъ, еслибы не возвратился къ своей народной пѣснѣ. Поэтому-то и Шевченко не могъ выдти изъ своей народно-племенной сферы.

Если у насъ чисто-народные мотивы Кольцова нашли глубокое сочувствие, то понятно, что еще болѣе и сильнѣе должны были отозваться пѣсни Шевченко въ душѣ его украинскихъ земляковъ. Какъ старая сказка пяни, онъ многое говорили сердцу; но какъ простой отголосокъ угасшаго казачества, пѣсни его не могли открыть какого-нибудь новаго міровоззрѣнія. Онъ увеличилъ число хорошихъ книгъ на малороссійскомъ нарѣчіи, но не создалъ никакой новой малороссійской литературы. Поэтому правъ и Бѣлинскій, который говорилъ, что не знаетъ такой литературы, правъ и Аксаковъ, когда замѣтилъ, что отдельная малороссійская литература «полезна только для домашняго обихода».

Обращаясь къ исторіи европейскихъ литературъ, мы вездѣ найдемъ доказательства противъ возможности особой литературы въ какой-нибудь провинції. У рѣдкой изъ нынѣшнихъ европейскихъ націй, въ какомъ-нибудь періодѣ ихъ жизни, не было отдельныхъ нарѣчій и на нихъ народныхъ пѣсень и сказокъ, а иногда даже и письменныхъ сочиненій.

Извѣстно, что во Франціи, въ первую пору національного развитія, образовались два значительно-отличныхъ нарѣчія — собственно французское на сѣверѣ и провансальское на югѣ. На томъ и другомъ возникла народная поэзія. Съ первого взгляда казалось-бы, что поэзія южныхъ трубадуровъ имѣеть болѣе данныхъ къ преобладающему

вліянію па будущу французскую литературу, что провансальскій *d'oïl* долженъ больше участвовать въ образованіи французского языка, чымъ съверный *d'os*. Южная часть Франціи, гдѣ совершалась религіозная борьба христіанскаго рыцарства съ мавританскими проповѣдниками Корана, гдѣ Карлы Мартелы отстаивали вѣру и народность страны противъ Абдеррахмановъ, гдѣ отлпчался подвигами самъ Карль Великій, должна будетъ поглотить умственную жизнь съвера или по-крайней-мѣрѣ не дать ему поглотить своей болѣе и ранѣе развитой жизни. Въ поэзіи трубадуровъ было несравненно больше чувства и энергіи, ихъ серены и новеллы отличались большею граціей и задушевностью. Между-тѣмъ, когда по силѣ историческаго хода событий различныя области Франціи начали сливаться въ одно цѣлое и разныя племена стали слагаться мало-по-малу въ одинъ могучій народъ, подъ преобладающимъ вліяніемъ съвернаго края, — тогда оба нарѣчія срослись въ одинъ общій французскій языкъ, и южная поэзія съ своимъ лирическимъ характеромъ уступила вліянію болѣе суровой, но и болѣе широкой эпической литературѣ съвера. Впослѣдствіи южная Франція произвела много даровитыхъ писателей, по ея мѣстной литературѣ замерла въ провинціальныхъ пѣсняхъ, а прежній мѣстный языкъ сохранилъ только неважные провинціализмы въ бывшемъ Провансѣ, да въ Гаскони. Между-тѣмъ литература Корнелей, Рениновъ, Мольеровъ сдѣлалась общіей литературой для всей Франціи.

Подобное явленіе мы находимъ и въ Германіи. Изъ цѣлаго ряда различныхъ языковъ германскаго племени въ средніе вѣка выдѣлились особенно два нарѣчія, верхне-немецкое или *hochdeutsch* и нижне-немецкое или *plattdeutsch*. Въ то время, когда письменная литература этой эпохи вы-

ражалась въ Германіи большею частію на языке латинскомъ, который былъ книжнымъ языкомъ всей страны, какъ у насъ церковно-славянскій, на обоихъ нѣмецкихъ нарѣчіяхъ явились народныя пѣсни и возникъ народный эпосъ. Оба эти нарѣчія съ разными своими подраздѣленіями отличались одно отъ другаго нѣсколько не менѣе, чѣмъ наши южно-русское и сѣверно-русское нарѣчія. При частыхъ колебаніяхъ государственной жизни, феодальномъ раздробленіи страты и страшномъ разъединеніи племенныхъ и династическихъ интересовъ, германскія племена и нарѣчія все больше разобщались, а литературные произведения на этихъ мѣстныхъ патуа все значительнѣе отличались по своему выражению. Казалось, какъ Германія политически раздробилась на множество самостоятельныхъ владѣній, такъ должно будетъ образоваться въ пей и нѣсколько самостоятельныхъ литературъ; но общий национальный духъ вышелъ побѣдоносно изъ этого хаоса. Явился лютеровъ переводъ библіи, въ который преимущественно вошли элементы сѣвернаго парѣчія, и этотъ новый языкъ сдѣлся общимъ литературнымъ языкомъ для всей нѣмецкой націи. Откуда ни являлись потомъ нѣмецкіе писатели—они всѣ обращались отъ своихъ провинціальныхъ нарѣчій къ этому литературному языку. Несмотря на то, что народныя пѣсни и древняя поэзія на hochdeutsch и plattdeutsch отличаются больше, чѣмъ великорусская и малороссійская народная поэзія — ни швабу, ни прусаку, ни саксонцу не приходитъ теперь въ голову оскорбляться господствомъ одного литературнаго языка, обращаться къ своему провинціальному говору и мечтать о своей отдельной литературѣ. Гете, Лессингъ, Шиллеръ, Гейне—писатели одинаково дорогіе для образованнаго населенія всей Германіи. И вотъ почему нѣмецкая литература, сосредоточивая всѣ духовныя силы народа въ одномъ об-

щемъ стремлениі, достигла въ короткое время высокаго развитія.

То-же самое мы видимъ и въ Англіи. Когда остатки кельтскихъ племенъ вытѣснены были саксами и норманнами изъ южной части острова въ Шотландію и Уэльзъ, тамъ образовались особые языки, на нихъ начали слагаться народныи пѣсни, и раньше другихъ частей Великобританіи явилась на сѣверѣ и западѣ богатая лироэпическая поэзія бардовъ, которой отголоски сохранились въ народной памяти до позднѣйшаго времени. Но когда история рѣшила, что политическое преобладаніе должно оставаться за Англіей, языкъ ея сдѣлался единственнымъ литературнымъ языкомъ для всей націи, и даровитѣйше люди, выходившіе изъ Уэльза, Шотландіи и даже Ирландіи — Свифтъ, Борисъ, Муръ, Вальтеръ-Скоттъ — не думали никакъ о литературномъ возрожденіи своихъ мѣстныхъ нарѣчій, а приносили всѣ силы своего дарованія на общую литературную дѣятельность Англіи.

Наконецъ такое-же историческое явленіе повторилось и въ Италии. Едва-ли есть страна, гдѣ по ходу историческихъ обстоятельствъ сложилось-бы столько отдѣльныхъ, рѣзко отличныхъ одно отъ другаго нарѣчій. До-сихъ-поръ въ сѣверной и южной Италии языкъ дотого отличенъ, что піемонтецъ съ трудомъ попимаетъ неаполитанца, а калабріецъ слышить совсѣмъ другую рѣчь въ говорѣ венецианца. И между-тѣмъ, только-что настала въ Италии пора литературного развитія, какъ флорентинское *volgare illustre* сдѣлалось общимъ литературнымъ языкомъ для всей Италии. Данть, Петрарка, Аріостъ — одинаково національные поэты для всѣхъ итальянцевъ отъ Аллійскихъ-горъ до южной оконечности Сициліи. Случалось, народъ [въ какомъ-нибудь углу Италии перелагалъ знаменитыхъ поэтовъ на свое нарѣчіе,

какъ сдѣлали венецианскіе гондольеры съ пѣснями «Освобожденного Іерусалима», но это никого не заставляло думать о какой-нибудь литературѣ на мѣстномъ нарѣчіи, не смотря на то, что даровитѣшіе представители итальянской поэзіи вышли изъ разныхъ провинцій. Тассъ былъ родомъ изъ Соренто, Аріостъ изъ Реджіо, а между тѣмъ они писали на литературномъ языке, который рѣзко отличался отъ простонароднаго нарѣчія ихъ родины. Одинъ изъ проповѣдниковъ самобытной украинской литературы, говоря о народной поэзіи какъ источникѣ литературы письменной, ссыпался на Боккаччіо, который будто бы большую часть разсказовъ своего Декамерона собралъ «зъ народніхъ усть», почему они и послужили неистощимымъ источникомъ романовъ, драмъ и комедій, разлетѣвшихся по всей Европѣ. Но именно Боккаччіо служить доказательствомъ, что преданія, хранящіяся на народныхъ нарѣчіяхъ, могутъ быть только материаломъ для общей литературы, а не основой отдельныхъ письменныхъ литературъ на какомъ-нибудь провинціальномъ патуа. Боккаччіо родился въ Парижѣ, провелъ значительную часть жизни въ Неаполѣ—и вездѣ собирая народные разсказы, но онъ передавалъ ихъ не на провинціальномъ нарѣчіи, съ котораго подслушивалъ, а на общемъ литературномъ итальянскомъ языке, обработанномъ флорентинцемъ Дантомъ.

Въ одномъ только мѣстѣ мы видимъ, какъ два близкія нарѣчія одного и того-же языка разложились на два языка самостоятельные и произвели двѣ отдельныя литературы. Это было на Пиринейскомъ-полуостровѣ. Тамъ кореннай романцо раздробился на два главныхъ нарѣчія, съверное или кастильское и югозападное, и несмотря на близкое родство, они не слились при успѣахъ образования, но мало по-малу португальское нарѣчіе выработалось въ особый языкъ

съ самобытной литературой. И это случилось только вслѣдствіе политическаго отдѣленія Португаліи въ самостоятельное государство. Еслибы португальцы вошли съ испанцами въ составъ одного политическаго цѣлаго, то конечно романцо остался бы только провинціальнымъ нарѣчіемъ, въ родѣ напримѣръ лимозинскаго, и вся мѣстная литература его ограничилась бы одиѣми народными пѣснями *Cancioneiros*, представляющими, какъ и наши казацкія думы, борьбу христіанскаго населенія съ напоромъ завоевательнаго магометанизма. Мы могли бы еще указать на литературу голандскую, шведскую и датскую, въ доказательство того, что племенные нарѣчія организуются въ самостоятельные языки и порождаютъ самобытныя литературы только въ такомъ случаѣ, когда самыя племена слагаются по ходу историческихъ обстоятельствъ въ отдѣльныя государства.

Но можетъ-быть здѣсь намъ укажутъ на то явленіе, которое совершается теперь въ славянскихъ земляхъ, гдѣ чуть не каждое племя стремится поднять свое нарѣчіе на степень литературнаго языка. Мы съ своей стороны въ этомъ явленіи находимъ новое подкрѣпленіе высказанной нами мысли. Съ одной стороны это покушеніе на образованіе литературныхъ формъ въ разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ вытекаетъ изъ стремленія этихъ племенъ къ политической независимости, къ освобожденію отъ долгаго порабощенія. Съ другой стороны это крайнее дробленіе родственныхъ языковъ на мелкіе діалекты и нежеланіе слиться съ другими родственными и болѣе развитыми нарѣчіями служитъ нечальной причиной того обстоятельства, что до-сихъ-поръ эти племена, несмотря на всѣ усиленія, не могутъ организоваться въ плотную и сильную массу. Эти претензіи каждого мелкаго племени на литературную самобытность своего нарѣчія, частію вслѣдствіе духа сла-

вянской разрозненности, а еще более отъ внушений враговъ славянского единства, дошли до того, что даже галицкіе русины, у которыхъ во все время дѣятельности Львовской-академіи былъ одинъ съ нами письменный языкъ, стараются теперь оторваться отъ малороссійского элемента и образовать свой особый языкъ, съ своимъ особымъ правописаніемъ. Такимъ-образомъ всѣ исторические факты доказываютъ, что при настоящемъ положеніи Малороссіи въ ней не можетъ быть никакой самобытной литературы, и всѣ усиленія партіи создать ее должны остаться совершенно напрасными.

Откуда-же могла явиться такая бесплодная мысль, чѣмъ она поддерживалась и что ожидаетъ ее въ будущемъ?

Кто-то соболѣзнуя о томъ, что малороссійскіе писатели держатся разныхъ украинскихъ нарѣчій, высказалъ мысль, будто разрозненность эта зависитъ отъ слабости инстинкта народной централизаціи въ южно-русскомъ племени. Мысль эта, по нашему мнѣнію, довольно справедлива и объясняетъ одну изъ причинъ самого появленія украинофильской школы. Этотъ именно слабый инстинктъ народного единства выразился безсознательно въ одномъ словѣ украинскаго населения на образованіи мнимо-народной партіи. Какъ и у славянъ австрійскихъ и турецкихъ, въ этомъ проявляется очевидное стремленіе къ обособленію въ языке и литературѣ. У насъ сравнивали украиномановъ съ славянофилами. Это невѣрно: если тутъ и есть какое-нибудь сходство во вѣшнихъ приемахъ, то въ самомъ направленіи между ними нѣть ничего общаго. У славянофиловъ въ основѣ ученія лежать идеи, которые ведуть къ слиянію народныхъ силъ, къ сознанию самобытныхъ источниковъ русского духа и сплоченію всѣхъ элементовъ нашей общерусской жизни. Напротивъ, школа украинофиловъ, обращаясь

къ своей старинѣ и преданіямъ, проповѣдуєтъ обѣ отдѣленіи провинціального говора отъ общаго языка, о возрожденіи племенной литературы и слѣдовательно о разъединеніи русскихъ силъ. Современная европейская мысль о правахъ національностей выродилась здѣсь въ односторонній провинціализмъ, который перетолковалъ величую идею въ смыслѣ узкаго племенного возрожденія. Безъ сомнѣнія въ этомъ увлечениіи участвовала и любовь къ народу; но вмѣсто того, чтобы понять необходимость общаго дружнаго дѣйствія со всей массою русскаго народа, на пути улучшений и прогресса, духъ односторонней партіи потребовалъ обособленія въ языкѣ и литературѣ. Наконецъ въ образованіи украинофильской школы была еще причина: это мелкое самолюбіе посредственности, которая, не находя силь проявить себя чѣмъ-нибудь въ богатой уже средѣ русской литературы, обильной разнородными талантами, искала возможности выдвинуться какъ-нибудь изъ неизвѣстности и нашла эту возможность въ малороссійской племенной литературѣ, гдѣ до нынѣшняго вѣка не было почти письменности, а поэту на безлюдьи и щомъ могъ сдѣлаться дворяниномъ. Тутъ для посредственности открывалось чистое поле, широкое какъ украинская степь: пиши романы, повѣсти, комедіи, составляй словари, грамматики, счетніці, коверкай правоописаніе—вездѣ будешь первый и найдешь какихъ-нибудь читателей и почитателей. Нѣть сомнѣнія, что въ числѣ писателей на малороссійскомъ нарѣчіи многіе обратились къ нему только по этому побужденію.

Мы говоримъ конечно обѣ одной партіи, и наши слова не относятся ко всѣмъ представителямъ южнорусской дѣятельности. Извѣстно, что люди съ истиннымъ талантомъ не примыкали къ этому кружку и не раздѣляли его увлеченій, а входила въ него посредственность, оскорблennное

самолюбіе или наконецъ желаніе быть во что-бы ни стало популярнымъ, при невозможности проявить себя въ широкомъ кругу общерусской жизни. Нарѣжные, Гоголи, Глинки чувствовали тѣсноту провинціальной колеи и выходили изъ нея съ запасомъ свѣжихъ силъ на широкую дорогу русской дѣятельности; а люди бездарные оставались вѣрными своимъ племеннымъ воззрѣніямъ, и благодаря новости и нѣкоторой заманчивости своихъ стремленій, возбуждали иногда шумъ въ своемъ муравейнике. Одинъ Шевченко въ этомъ отношеніи составляетъ исключение, какъ послѣдній истинно-народный украинскій кобзарь и пѣвецъ былой жизни старого казачества; но онъ писалъ не по принципу литературнаго сепаратизма, а потому что былъ истиннымъ пѣвцомъ той стороны народной жизни, которая могла найти отголосокъ только на одномъ мѣстномъ нарѣчіи. Подобное явленіе можетъ повториться и въ будущемъ: на малороссийскомъ нарѣчіи можетъ-быть явится и другие поэты, но не иначе какъ въ лирическомъ родѣ, подъ напѣвы старыхъ кобзарей. Внѣ этой среды все истинно-дѣловитое, по неизбѣжному ходу исторіи, не перестанетъ тяготѣть къ общерусской жизни и литературѣ, и развѣ только самолюбивая посредственность да узкий патріотизмъ увлекутся ложно-народнымъ стремленіемъ, пока не замрутъ подъ равнодушнымъ безучастіемъ массъ, не поддающихся на голосъ бесплодныхъ мечтаний.

Выскажемъ въ заключеніе прямо нашу мысль. Исторический опытъ вѣковъ и здравый смыслъ показываютъ, что никогда провинціальное племя не имѣло и не можетъ имѣть особой литературы. Противное мы находимъ только въ Австріи, сплоченной изъ народностей совершенно чуждыхъ, которыхъ никогда не сойдутся въ общихъ интересахъ и не сольются въ одно органическое цѣлое. Но зато мы знаемъ,

чего можно ожидать отъ этой страны? Тамъ дѣйствительно есть нѣсколько литературъ, кромѣ нѣмецкой: тамъ и отдельная литература чешская, и особая литература венгерская—и никто конечно не назоветъ ихъ литературами провинціальными и не скажетъ, что чехъ Гавличекъ или мадьяръ Верошмарты составляютъ что-нибудь общее съ Гейне, Гервегомъ и Фрейлихратомъ. Еслибы Малороссія была въ отношеніи къ Россіи въ такомъ-же положеніи, какъ Богемія или Венгрия къ Австріи, тогда мы согласились-бы съ редакціей львовской «Меты» и готовы были-бы допустить возможность и процвѣтаніе самобытной малороссійской литературы. Но къ счастію этого нѣть: Южно-русскій-край, и по-своему географическому положенію, и по историческимъ судьбамъ, и по настоящему тяготѣнію, и по всей массѣ народныхъ инстинктовъ, составляетъ неразрывную часть общерусской земли, а поэтому въ немъ, связанномъ съ нами въ одно цѣлое, не можетъ быть и самостоятельной литературы. Можно пожалуй допустить тамъ первоначальное обученіе на мѣстномъ парѣчіи, но простой здравый смыслъ показываетъ, что въ немъ не можетъ быть ни высшаго образованія на этомъ мѣстномъ патуа, ни ученыхъ изданій, ни своихъ мѣстныхъ журналовъ. Если наша литература не сильно противодѣйствовала подобнымъ затѣямъ, то это оттого, что и самая народная массы въ Малороссіи не заявляли къ нимъ сочувствія. Но при-всемъ-томъ жаль, что силы, хотя и не обширныя, однако все-же способныя приносить пользу въ общей дѣятельности и ускорять обобщеніе русской науки и литературы, тратятся на дѣло совершенно бесплодное по своимъ конечнымъ результатамъ.

Еслибы историческая необходимость, вместо великорусского племени, поставила въ главѣ народной жизни племя

малороссийское и въ немъ сложилось-бы зданіе государственного единства и силы, а языкъ его сдѣлался языкомъ науки и литературы—и послѣ этого сплоченія народа, гдѣ-нибудь на сѣверѣ, въ Москвѣ или Новгородѣ, по уцѣлѣвшимъ историческимъ и бытовымъ пѣснямъ и сказкамъ какіе-нибудь провинціальные патріоты начали-бы толковать объ отдѣльной самостоятельности своего сѣверно-русскаго языка и закладывать «основу» какой-то своей самобытной и независимой литературы — не имѣлъ-ли-бы тогда права русскій народъ назвать эти провинціальные великорусскія претензіи ненужными и безплодными? Россія одна — и въ ней можетъ быть только одинъ литературный языкъ, одна русская наука и одна русская литература. Отрицать это можетъ только самолюбивая бездарность или узкій провинціальный патріотизмъ.

## СЫНЪ ДЬЯЧКА И КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧКА.

(Впечатлѣніе академической выставки).

Кто не знаетъ небольшой, но мѣтко задуманной и прекрасно выполненной картины покойшаго Федотова—Встрѣча жениха или сватовство майора? У всѣхъ, кто сколько-нибудь интересуется искусствомъ, осталась конечно въ памяти эта живая сцена нашей русской жизни. Вы конечно помните ее? Въ купеческой гостиной, увѣшанной портретами какихъ-то генераловъ, съ люстрой изъ стеклышекъ, съ закрытымъ столомъ и бутылкой шампанскаго, встрѣчаютъ прѣхавшаго жениха. Толстолицый и бородатый хозяинъ дома, какой-нибудь разбогатѣвшій лабазникъ или дровяникъ, торопливо застегиваетъ длиннополую сибирку; плотная его сожительница, гладко повязанная шелковымъ платочкомъ съ рожками па лбу, удерживается за блондовый хвостъ разодѣтую впухъ зрѣлую дочь-невѣсту, которая въ жеманномъ испугѣ всплеснула руками и, кажется, готова уѣхать съ замѣршою на губахъ фразой Липочки Островской: «а ну, какъ я передъ нимъ сконфужусь! ахъ, страшъ

какой! что онъ подумаетъ? А дверь уже отворилась: входитъ, весело согнувшись, старуха-сваха, въ праздничномъ шугай, и за нею въ передней видна и высокоблагородная фигура самого жениха, который молодецки подперся лѣвой рукою въ бокъ, а правой закручиваетъ усы и въ то-же время побѣдоносно приподнимаетъ густо-эполетированныя плечи. Какъ все это просто и натуально!

Недавно выставлена была въ Академіи-Художествъ другая маленькая, но прекрасная картина художника Перова—Сынъ дьячка, произведенный въ коллежскіе регистраторы и примѣривающій вицмундиръ. Сцена—также ловко подмѣченная и искусно переданная. Въ тѣсной комнатѣ городского причетника, обставленной всѣми принадлежностями темной бѣдности и невольныхъ лишеній, собралась семья въ великую минуту, когда портной принесъ примѣрить форменный фракъ на хозяйстваго сына, только-что произведенаго въ первый чинъ. Дьячекъ-отецъ, простой и по-видимому добрый кривой стариочекъ, съ сияющимъ радостью лицомъ, смотрить всей силою одинокаго глаза на чиновную плоть отъ плоти своей и, кажется, хочетъ вскочить ему на шею, повитую бархатнымъ воротникомъ. Набожная старушка-мать замерла въ теплой молитвѣ надъ созерцаніемъ свѣтлыхъ пуговицъ, сіающихъ на фалдахъ сына. Дочь ихъ, простая и должно-быть работящая девушка, съ благоговѣніемъ и нѣкоторой завистью любуется серебряной кокардой на братчиной фуражке. А самъ виновникъ этой торжественной сцены, вытянувшись во весь ростъ, стоитъ посереди комнаты въ новомъ вицмундирѣ, величавый точно Готфредъ, надѣвающій латы передъ боемъ, съ глубокимъ сознаніемъ достоинства въ каждомъ изгибѣ тѣла, въ каждой чертѣ лица; и портной, вполнѣ понимающій важность

своего призванія въ этотъ торжественный моментъ, съ глубоко-серезнымъ лицомъ и даже нѣкоторой гордостью согнулся передъ своимъ пацентомъ и мѣломъ намѣчаетъ выемку на вожделенномъ вицмундирѣ. Сколько во всемъ этомъ истины и жизни! ;

Въ картинахъ этихъ привлекаетъ зрителей разумѣется комическая сторона русской жизни, давно обратившая на себя вниманіе нашей сатиры. Неразъ уже перо комика и карандашъ художника преслѣдовали и осмысливали эту пе-частную слабость нашихъ простыхъ людей гоняться за переходомъ въ высшее сословіе. Зло и остроумно смѣялись мы надъ тѣмъ, что наши купцы, разбогатѣвъ изъ крестьянъ и только-что сбросивъ лапти или смазанные дегтемъ осташи, неловко обставляютъ себя предметами европейской жизни—стараясь помирить свою родную чуйку и длиннополую поддевку съ пролеткой на лежачихъ рессорахъ, свою жарко-патопленную лежанку съ роскошной мебелью Тура, свою безграмотность и зѣвоту при видѣ всякой книги, кромѣ конторской, съ необходимостью воспитывать дочерей въ модныхъ пансіонахъ на лансье и французскомъ языкахъ. Съ негодованіемъ смотрѣли мы на печальные опыты богатыхъ купцовъ выводить въ офицеры и дворяне своихъ избалованныхъ сыновъ, которые потомъ, вырываясь изъ среды прежняго сословія, дѣлались только героями Дюсо и Излера, бойко спускали на торгованное годами родительское достояніе и хлопотали всѣми силами о томъ, чтобы забыть свое прежнее званіе. Неутомимо глумились мы надъ этимъ постояннымъ бредомъ купеческихъ дочекъ о женихахъ военныхъ, надъ этой страстью купцовъ выдавать ихъ съ сотнями тысячъ приданаго за князей или графовъ, которые и брали этихъ дѣвъ только въ качествѣ приданаго къ получаемымъ тысячамъ. Мы не переставали изум-

ляться, видя, что грустные развязки подобныхъ браковъ не вразумляютъ этихъ неразумныхъ, и они продолжаютъ гоняться за чиновными зятьями, которые послѣ свадбы часто непускаютъ ихъ и на порогъ. Такъ-же остроумно смѣялись мы и надъ этими семинаристами, когда они лѣзли въ чиновники, Богъ знаетъ для-чего мѣняли свои под-расники на вицмундеры, съ нѣжностью смотрѣли на свои свѣтлыя пуговицы и являлись въ свѣтской жизни съ не-стираемой отмѣткой пріемовъ и говора своего\* прежняго быта и сословія.

Все это давно осмысляно первомъ, карандашемъ и кистью, въ карикатурѣ и сатирѣ, начиная съ фонвизинскаго Кутейкина и до типовъ Островскаго. И дѣйствительно, во всемъ этомъ много смѣшнаго.

Но всматриваясь въ дѣло внимательнѣе, кто не согла-сится, что подъ комическимъ складомъ этой стороны жиз-ни видна и оборотная сторона медали, возбуждающая что-то другое, кромѣ смѣха. мнѣ кажется, всѣ эти явленія прямо вытекаютъ изъ смысла нашего общества, изъ сущ-ности нашихъ сословныхъ отношеній, и самыя картины Федотова и Перова, заставляя улыбаться при видѣ этихъ безъ-сомнѣнія смѣшныхъ сценъ, въ то-же время наводятъ на печальные мысли такъ-же, какъ и смѣхъ Го-голя. Не одинъ хохотъ возбуждаютъ онъ въ душѣ какого-нибудь простаго губернскаго купца или церковнаго при-четника. На выставкахъ я иногда вглядывался въ лица купцовъ, когда они подходили къ такимъ картинамъ, какъ Сватовство майора, Федотова, или Прерванное обрученіе, Волкова. Въ добродушно-пасмѣшливой ихъ улыбкѣ, мнѣ кажется, видѣлось что-то кромѣ обиды за мѣтко-подсмо-трѣнныя художникомъ черты ихъ быта. Намъ конечно во всемъ этомъ бросается въ глаза одна комическая сторона;

ио надобно войти въ положеніе тѣхъ, на кого бьеть сатира, надобно пережить и перечувствовать эту жизнь — и картина получить нѣсколько иное освѣщеніе.

Легко смѣяться намъ при видѣ, какъ бѣдный дѣячекъ празднуетъ высоко-торжественную минуту производства въ чинъ своего молодаго сына. И въ-самомъ-дѣлѣ смѣшонъ тотъ восторгъ, съ какимъ эти бѣдныe люди смотрятъ па вицмундиръ, кокарду и свѣтлыя пуговицы форменного облаченія. Еще смѣшнѣе можетъ-быть станеть для насъ эта сцена, когда мы представимъ будущую судьбу этого чиновника, обреченаго па служеніе въ какомъ-либо про-винціальномъ судѣ, [среди вѣчнаго скрипа перьевъ, въ кругу фаланги такихъ-же чернильныхъ витязей, гдѣ суждено ему, какъ бѣлкѣ, вертѣться въ неостанавливающемся колесѣ мелкаго честолюбія и интригъ передъ высшими и жалкаго чванства съ нечиновными. Въ этой перспективѣ открывается ему долгая жизнь съ протертыми локтями и истоптанными до дыръ подошвами, съ полдюжиною голодныхъ дѣтей и кучей заботъ о сторублевой пенсіи подъ старость. И конечно смѣшно, когда выходъ на такую дорогу семья празднуетъ, точно какое-нибудь торжество. Но тутъ-то и нужно вспомнить, изъ какой среды ведетъ этотъ выходъ.

Чтобы понять это, надобно представить жизнь и общественное положеніе церковнаго причетника въ провинціальномъ городѣ. Въ глазахъ высшей духовной власти онъ стоитъ ниже лакея, не слышать никогда привѣтнаго слова, долженъ ползать на колѣнахъ, творить земные поклоны, какъ передъ иконами, и яко благостию принимать всякаго рода головомойки и распеканья. Въ обществѣ онъ совершенный нуль, видѣть только презрѣніе, слышать однѣ оскорбительныя клички и обидныя

прозвища. Кто-же не пожелаетъ выхода изъ этого положенія?

Понятно, какъ пріятно должно быть такому человѣку при одной мысли, что любимый сынъ выходить въ другое сословіе, гдѣ по его понятіямъ онъ будетъ прикрыть чиномъ отъ множества горькихъ и унизительныхъ оскорблений. Конечно, этого нѣтъ въ кругу священниковъ, и тамъ старики смотрять даже недоброжелательно на дѣтей, если они переходятъ въ свѣтское званіе; но для бѣднаго провинціального дьячка такой случай—дѣйствительно великий праздникъ. Вотъ почему чиновничій вицмундиръ на плечахъ сына нетолько блѣпаетъ его блескомъ гербовыхъ пуговицъ, но кажется ему священной эгидой, подъ которою молодой человѣкъ будетъ защищенъ отъ тысячи оскорблений, съ какими самъ старики дожилъ до этого утѣшительнаго дня. Здѣсь чувства отца и матери понятны, вызываются не одну насмѣшку карикатуриста, а вмѣсть съ тѣмъ и гуманное чувство теплого состраданія. Вотъ отчего намъ кажется, что въ картинѣ Перова, можетъ-быть противъ воли художника, подъ сатирическимъ покровомъ вымысла затаилась мысль болѣе глубокая и серьозная, которой не можетъ вполнѣ заглушить и истинно-комическое положеніе главнаго лица, юнаго коллежскаго регистратора.

Также самая мысль, еще съ большей ясностью, является при взглядѣ на картину Федотова.

Мы смѣемся, какъ полуобразованный купецъ хлопочеть вывестъ своего сына въ дворянѣ, а молодой человѣкъ снускаетъ потомъ нажитое отцемъ состояніе на карты, попойки или танцовщицу, стыдится своего прежняго званія, презираетъ своихъ длиннополыхъ родныхъ, и отставъ отъ одного берега, не умѣеть твердо стать на другомъ. Намъ забавно, когда въ купеческую семью входитъ какой-нибудь

гусарский офицеръ, беретъ громомъ своей сабли нажитыя купцомъ деньги и потомъ указываетъ двери своимъ дороднымъ тятинькамъ и маменькамъ. Насъ беретъ смѣхъ при видѣ того, какъ младенская купеческая дочка, воспитанная на ватрушкахъ и блондахъ, на почтеніи къ деньгамъ и эполетамъ, дѣлается полубарышней и блѣданѣеть при одномъ воспоминаніи о томъ, что она была купчихой. Повторяю, все это смѣшно, но въ то-же время довольно грустно и совершенно понятно. Кто знаетъ бытъ нашего провинціальпаго, чисто-русскаго купечества, для того нѣть въ этомъ ничего страннаго и удивительнаго.

Не смотря на то, что этотъ класъ, по своей независимости и массамъ своихъ капиталовъ, могъ-бы играть у насъ такую-же видную роль, какъ и у другихъ, мы видимъ напротивъ всю нетвердость его положенія. У насъ самое имя купца въ глазахъ высшаго сословія пользуется не лучшимъ значеніемъ, чѣмъ и прозвище кутейника. Уваженіе къ купцу рѣдко отдѣляется отъ уваженія къ его капиталу. Мы обращаемся съ нимъ, какъ съ разбогатѣвшимъ мужикомъ, любимъ приглашать его къ пожертвованіямъ, позволяемъ при разныхъ случаяхъ давать обѣды и праздники въ честь властей, но никогда не позволимъ ему сѣсть съ нами въ одни сани. Въ провинціи купецъ постоянно долженъ кланяться не только губернатору или городничему, но и частному приставу; послѣдній приказный, послѣдній регистраторъ, едва годный на переписку бумагъ, считаетъ себя выше, какъ человѣкъ благородный,—и если ему нѣть прямыхъ выгодъ брататься съ купцомъ, то онъ не замедлитъ показать ему свое превосходство. А посмотрите на купеческихъ женъ и дочерей. Хотя ихъ блондовыя платья и брильянты возбуждаютъ зависть, но ихъ самихъ очень многіе вовсе не считаютъ за лицъ, могу-

иныхъ принадлежать къ тому обществу, которое составляютъ наши барыни, *dames de la société*. Въ ложѣ театра купчиху ожидываютъ высокомѣрнымъ взглядомъ, а попробуй она явиться въ собраніе, гдѣ танцуютъ барыни—ее сплошь и рядомъ ждетъ позорный ostrакизмъ.

Что-же удивляться послѣ этого, если купцы наши, не смотря на сотни плачевыхъ примѣровъ, постоянно заботятся вывести сына въ дворянѣ и выдать дочь за офицера или за князя! Не естественно-ли въ нашемъ купцѣ желаніе ввести свою дочь въ тотъ кругъ, гдѣ она избавлена будетъ отъ оскорблений, видѣть ее подъ-руку съ человѣкомъ, подъ защитой котораго по-крайней-мѣрѣ на улицѣ первый встрѣчный не можетъ безнаказанно ее обидѣть. Нѣтъ, въ офицерской саблѣ видать наши купцы не одну побрякушку, а настоящее оружіе для защиты своихъ дочерей, въ эполетахъ прельщаетъ ихъ не одинъ блескъ, а благодѣтельная эгіда противъ тысячи непрѣятностей. Здѣсь сказывается не эгоизмъ, не пустое чванство, а инстинктивная забота отцовской любви, хоть и въ грубой формѣ.

Намъ возразить можетъ-быть, что сотни примѣровъ показываютъ безпрестанно, къ чему ведутъ подобные браки, что рѣдкому не случалось видѣть, какъ мужъ-офицерь, промотавъ женинны деньги, съ презрѣніемъ трактуетъ своихъ новыхъ родныхъ, а иногда даже выгоняетъ изъ дома и жену-купчиху. Такіе примѣры точно не рѣдки. Но они-то, кажется, больше всего и подтверждаютъ нашу мысль. Купцы безъ-сомнѣнія лучше другихъ знаютъ результаты подобныхъ браковъ, и при-всемъ-томъ они упорно продолжаютъ ловить дочерямъ своимъ благородныхъ жениховъ на удочку своихъ капиталовъ. Въ этомъ-то и выражается ихъ пониманье своего положенія: они хотятъ, во-что-бы

ни стало, хоть-бы съ потерю состоянія и даже спокойствія, вывести дѣвшую изъ среды, въ которой ея общественное значеніеничѣмъ не гарантировано. Не надобно забывать, что купецъ можетъ-быть завтра, вслѣдствіе одного несчастнаго оборота, рискуетъ потерять состояніе, а вмѣстѣ съ нимъ и единственное свое значеніе: за невзнось гильдейскаго капитала онъ тотчасъ-же будетъ приписанъ въ мѣщане и увидитъ въ перспективѣ самую темную дорогу. Кто-же рѣшился обвинить человѣка, который, понимая всю горечь такого шаткаго положенія, ищетъ возможности, какими-были были средствами и съ какими-были ни было пожертвованіемъ, вывести своихъ дѣтей изъ такого печальнаго круга жизни. Кто-же, говоря по совѣсти, рѣшился бросить камень въ этихъ людей, которые не видать другаго средства поставить дѣтей въ лучшее положеніе!

Отчего-же все это зависитъ? Говорятъ, здѣсь вопросъ въ одномъ только образованіи: еслибы купечество, при своемъ независимомъ положеніи и капиталахъ, было просвѣщеніе, мы не видали-бы въ немъ этой смѣшной гонки за дворянствомъ. Это справедливо, но только при условіи общаго образованія всего сословія. Въ настоящее время образованность отдельнаго лицаничѣмъ не гарантируетъ его: мы недавно видѣли, что образованность купеческаго семейства не спасла его отъ изгнанія съ благороднаго бала. Всѣмъ извѣстно, что самый образованный купецъ подвергается со стороны какихъ-нибудь Сквозниковъ-Дмухановскихъ тѣмъ-же самымъ оскорблѣніямъ, какъ Абдуловы и подобные имъ аршинники и самоварники. Давно-ли еще въ самомъ литературномъ мірѣ, который такъ гордится своимъ образованіемъ и гуманностью, упрекали Полеваго въ томъ именно, что онъ былъ купецъ — и въ

кругу самыхъ благодушныхъ литераторовъ ходили эпиграммы съ пошлыми намеками на его происхождение. Нѣтъ, мы убѣждены, что одно образованіе отдельныхъ лицъ не прекратить этого дѣйствительно смѣшнаго обычая перехода въ другое сословіе, какъ не прекратили его насмѣшки и карикатуры. Печальная сторона этого быта сгладится тогда только, когда въ немъ самомъ исчезнутъ корни, отъ которыхъ это зло плодится и растетъ.

Когда наше купечество, вмѣстѣ съ развитіемъ у нась образованія, пойметъ наконецъ всю пользу и выгоду его, тогда безъ-сомнѣнія совершится и улучшеніе его общественного быта, тогда съ уваженіемъ будутъ смотрѣть на него люди другихъ сословій; тогда только и купецъ не будетъ искать для своей дочери одного дворянскаго титула или блестящихъ эполетъ, и сама купеческая дочка начнетъ взглядываться, есть-ли человѣкъ подъ этимъ красивымъ мундиромъ. А съ улучшеніемъ быта и нравовъ нашего провинціального духовенства, конечно и сынъ причетника не съ такой забавной гордостью падѣнетъ вицмундиръ съ свѣтлыми пуговицами, и вся семья его не будетъ думать, что первое примѣриванье этого наряда составляетъ праздникъ праздниковъ и торжество изъ торжествъ.

До-тѣхъ-поръ этимъ бѣднымъ людямъ позволительно искать спасенія въ шпорахъ и вицмундирахъ, — и если купеческая дочка видить въ густыхъ эполетахъ залогъ своего счастія, въ княжескомъ титулѣ удовлетвореніе самолюбія, если семипаристъ смотритъ на бархатный воротникъ, какъ на источникъ будущаго благополучія — то это, какъ мы сказали, не только понятно, но даже извинительно. Пусть-же литература рисуетъ намъ эти жалкие типы въ сатирѣ, пусть карандашъ и кисть осмѣиваются ихъ въ карикатурѣ — мы будемъ смеяться, но такъ, какъ научили

насъ Гоголь и Островскій, то есть смыться въ лицѣ этихъ людей надъ тѣмъ, что ихъ создало и воспитало, надъ тѣмъ, что скрывается за этими грустно-комическими образами и что на-самомъ-дѣлѣ должно нести на себѣ и нашъ смѣхъ и наше негодованіе.

---

**ПОЭТЪ СЛАВЯНИЗМА.**

(Стихотворенія Хомакова).

Въ нашей литературѣ, какъ и во всѣхъ живыхъ литературахъ, одни поэты стоять въ общественныхъ кружковъ и даже нерѣдко выражаютъ идеи началь противоположныхъ, другіе родились и созрѣли въ исключительныхъ воззрѣніяхъ одной какой-нибудь партіи и служать ея представителями въ искусствѣ. Первые берутъ свои идеалы въ общемъ источникѣ человѣческой природы, хотя и оживляютъ ихъ дыханіемъ своего вѣка и общества, вторые все черпаютъ изъ одной какой-нибудь жилы современной жизни. Такъ Майковъ, оставаясь вѣрнымъ своему вѣку, не подчиняется никакому исключительному воззрѣнію, таѣтъ Некрасовъ — представитель только одной современной котеріи. Мы не думаемъ сказать этимъ, чтобы Майковъ смотрѣлъ безстрастно на жизнь и не имѣть своего собственнаго воззрѣнія, своей опредѣленной общественной и соціальной идеи, а хотимъ только замѣтить, что онъ почерпаетъ для нея содержаніе изъ всей широты об-

щественной жизни, изъ всѣхъ источниковъ обще-человѣческой мысли. Съ другой стороны, Некрасовъ беретъ содержаніе для своихъ стиховъ только въ кругу одного воззрѣнія, смотритъ на жизнь взглѣдомъ одной партіи, вполнѣ замкнутъ въ идеяхъ одного литературнаго кружка.

Въ самомъ дѣлѣ, вглядитесь въ смыслъ идей той изъ нашихъ литературныхъ которій, которую обыкновенно называютъ крайней западной, поймите ея взглѣдъ на смыслъ европейской жизни и степень вліянія на наше общество, разгадайте наконецъ всѣ ея *pia desideria*—и вы ясно увидите, что Некрасовъ по самой односторонности его—полнѣйший представитель ея идей и воззрѣній. Въ его, очень рѣдко поэтическихъ, но всегда характерныхъ стихахъ выразилось все содержаніе этой западной партіи, воплотилось все, что она постоянно развивала въ сочиненіяхъ самыхъ разнообразныхъ. Точно такъ-же, по нашему мнѣнію, Хомяковъ можетъ быть названъ представителемъ и пѣвцомъ другой литературной фракціи, которая известна у насъ подъ неточнымъ, но давно уже утвердившимся именемъ славянофиловъ и которая отличается своимъ самобытнымъ воззрѣніемъ въ вопросахъ ученыхъ и литературныхъ, политическихъ и соціальныхъ.

Въ настоящее время значение обѣихъ этихъ партій у насъ вполнѣ опредѣлилось въ глазахъ всѣхъ мыслящихъ людей. Не принадлежа къ послѣдователямъ ни той, ни другой, мы однако-же знаемъ теперь, что онѣ были вызваны въ нашей литературѣ естественнымъ ходомъ историческихъ судебъ нашего общества, что въ нихъ высказались его живыя силы и честныя стремленія, и что изъ борьбы ихъ возникло и прояснилось много идей о нашемъ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. Ученая и литературная полемика этихъ партій ясно показала теперь, что идеаломъ

нашей будущей общественной жизни не можетъ быть ни старая допетровская Россія, съ ея ветхими основами и мертвящими порядками, ни современная Европа, съ тѣми соціальными формами, какія выработаны въ ней феодализмомъ и католичествомъ. Теперь понятно, что въ старой русской жизни были свѣтлыя начала, возникшія изъ нашего народного характера, изъ которыхъ одни отжили или заглушины насильственно, а другія еще таятся подъ тяжелымъ наносомъ и могутъ дать отпрыски въ будущемъ; теперь ясно и то, что въ Европѣ, несмотря на ея пролетаріатъ и пауперизмъ, остается еще много прекраснаго, чѣмъ мы должны внести въ нашу жизнь и развить на нашей почвѣ. Значеніе петровской реформы все болѣе проясняется, и теперь люди, не ослѣпленные крайностью убѣждений, перестаютъ уже видѣть въ этой эпохѣ предметъ безусловнаго поклоненія или упорно-застарѣлой ненависти и сознаютъ, что въ личности Петра и въ его дѣятельности были какъ темныя, такъ и свѣтлыя стороны. Все это, повторяемъ, сдѣлалось въ наше время убѣженіемъ всѣхъ свѣтлыхъ людей и мало-по-малу входитъ и въ общественное убѣженіе. Мысль о примиреніи крайнихъ партій, западной и восточной, начинаетъ проникать въ общество.

Но хотя обѣ литературныя партіи, о которыхъ мы говоримъ, отжили окончательно свое время и теперь повторяютъ только зады, безъ всякаго нравственнаго вліянія на общество, однако заслуги ихъ въ дѣлѣ развитія нашей общественной мысли несомнѣнны и достойны доброй памяти со стороны всякаго добросовѣстнаго человѣка. Онѣ способствовали разъясненію нашей исторической жизни, отношеній нашего общества къ западной Европѣ и къ нашимъ кореннымъ народнымъ силамъ; онѣ твердо и энергически высказывали свои убѣженія, несмотря на тѣсноту арены

для подобной борьбы, не смотря на невѣрные шаги и удары, какіе приводилось имъ дѣлать. Потомство оцѣнить настойчивую энергию и неистощимое искусство этихъ бойцовъ. Не касаясь дѣятельности западной партіи, мы остановимся только на партіи славянской, которой въ недавнее время суждено было потерять нѣсколько лучшихъ представителей.

Свѣтлая сторона славянофиловъ теперь очевидна. Партия эта постоянно поддерживала у насъ идеи родства русского народа съ другими славянскими племенами, отторгнутыми отъ общей семьи и затерянными въ массѣ завоевателей на югѣ и западѣ. И понятно, какъ важенъ этотъ вопросъ при томъ стремлении умовъ къ племенному объединенію народностей, какое въ послѣднее время обнаружилось во всей Европѣ и заставляетъ предвидѣть новую будущность для народовъ. Эта идея племенного славянского единства, хотя и въ исключительной формѣ церковнаго родства, постоянно жила въ славянофильской партіи, которая такимъ-образомъ служила у насъ представительницей панславизма. Въ области философіи славянская партія вдалась также въ односторонность, требуя национальной науки въ какихъ-то исключительныхъ формахъ и въ такое время, когда еще ни по количеству грамотной массы, ни по степени ученаго развитія, не настала въ этомъ отношеніи пора; но при всемъ-томъ нельзя не согласиться, что ея энергическая полемика принесла пользу, обращая ученыхъ къ разработкѣ элементовъ нашей собственной жизни. Въ юридически - общественныхъ вопросахъ славянисты твердо стояли за общинное начало, и прикасаясь въ этомъ отношеніи къ лучшей части западной партіи, отличались отъ нея тѣмъ, что не смотрѣли на общину съ чуждой намъ точки зрењія западныхъ мыслителей и экономистовъ, а отыскивали корни общинного устройства въ самомъ духѣ

славянского характера, въ самыхъ основахъ нашей народной жизни. Наконецъ, когда правительство вызвало литературу къ обсужденію крестьянского вопроса, славянская партія высказала самыя симпатичныя, благородныя идеи о поземельномъ надѣлѣ и общинномъ владѣніи—и потомство опѣнило ея прекрасную роль въ этомъ дѣлѣ.

Но обѣ руки съ этими свѣтлыми идеями у славянофиловъ встрѣчались мнѣнія, которыя не привлекали къ нимъ людей прогрессивныхъ. Въ числѣ парадоксальныхъ убѣжденій этой партіи всего памятнѣе постоянная мысль ея важнѣйшихъ представителей о гниломъ состояніи запада. Что подобная идея могла явиться у страстнаго мыслителя въ эпоху европейской реакціи, и онъ подобно пловцу, выброшенному послѣ бури на дикий берегъ, въ отчаяніи про клипалъ старое общество,—это понятно. Всматриваясь «съ того берега» въ чудовищное развитіе западнаго пауперизма, въ гнетущую силу торговыхъ и промышленныхъ монополий, въ безвыходное положеніе массы отъ ненормального распределенія поземельной собственности, и вникая въ смыслъ новѣйшихъ политico-соціальныхъ ученій, вызванныхъ на западѣ отсутствиемъ общины—дѣйствительно нельзя не задуматься о будущности европейскаго общества. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что все это общество гнѣтъ и разрушается въ своемъ составѣ? Развѣ можно назвать гнилымъ край, который въ наше время блещетъ всѣмъ свѣтомъ науки, кипитъ промышленной и торговой дѣятельностью, безпрестанно дарить мірь великими открытиями, въ рукахъ котораго сила, власть, богатство, всѣ сокровища жизни, мысли и слова? Можно-ли назвать гнилымъ этотъ западъ, перерѣзанный вдоль и поперекъ желѣзными дорогами, наполненный учеными обществами и учебными заведеніями, далеко разносящими плоды знанія и цивилизаций?

Неужели гнилая страна можетъ давать законы міру, управлять его интересами? Нѣтъ, этотъ западъ еще далекъ отъ разрушенія, и если въ его общественномъ бытѣ есть больныя стороны, то съ другой стороны мы еще чувствуемъ на себѣ силу его здоровыхъ руку и здороваго ума и не можемъ думать, чтобы самыя язвы его были неизлечимы.

Въ чёмъ-же видѣли славянофилы выходъ изъ того большаго состоянія, въ какомъ по ихъ мнѣнію ветшаетъ и разрушается западъ? — въ науцѣ, въ успѣхахъ жизни, въ гарантіи человѣка отъ пролетаріата, въ развитіи общинаго порядка, въ очищеніи нравовъ? Не совсѣмъ! Главнымъ источникомъ спасенія они считали какое-то смиреніе, основанное на философски-нравственномъ приниженіи личности, на колѣнопреклоненномъ сознаніи пессовершенствъ, на общенородномъ историческомъ покаяніи. Это родъ какого-то постояннаго оплакиванія условныхъ грѣховъ, вѣчнаго посыпанія головы траурнымъ пепломъ. И по мнѣнію славянской партіи, одно только русское общество близко къ этому идеалу поголовнаго смиренія, чуждо гордости и народнаго самолюбія, благодушно сознается въ своихъ порокахъ, не любить звонить о своихъ доблестяхъ, умѣеть смѣло влагать палецъ въ свои раны и открыто говорить о своихъ язвахъ... Но такъ-ли это? Вѣдь Англія, напримѣръ, при всѣхъ правахъ на гордость, не всякий день кричитъ, что готова всѣхъ закидать шапками, и не всегда величаетъ себя избранной націей, назначеннай для очищенія и просвѣтленія человѣчества, хотя черезъ безчисленныя колоніи она разливаетъ на весь міръ цивилизацію. И наконецъ, развѣ въ самомъ желаніи поставить себя на какой-то исключительный пьедесталь народнаго смиренія — не видать высшаго проявленія гордости? А между тѣмъ эта оригинальная «гордость смиренія» выражается постоянно во всемъ

ученіи славянской партіи. Если крайніе западники, въ съвѣтъ увлечениіи европеизмомъ и рабскомъ поклоненіи западу, доходили иногда до отрицанія почти всего свѣтлаго въ нашемъ народномъ характерѣ; то и славянофилы точно также, въ отрицаніи западнаго вліянія и восхищениіи всѣми старыми, хотя бы отжившими основами допетровской жизни, оканчивали полнымъ униженіемъ Европы и гордымъ самовосхваленіемъ. Все это отразилось и въ наукѣ, и въ поэзіи.

Въ числѣ поэтовъ славянской партіи было не мало людей даровитыхъ, но первое мѣсто между ними, если не по таланту, то по болѣе обозначенному направлению идей и вѣрованій, принадлежитъ Хомякову. Это самый полный представитель ея убѣждений и надеждъ, настоящій прѣвѣцъ славянизма, во всемъ значеніи этого слова. Въ немъ выразились вполнѣ и свѣтлыя, и темныя стороны этой замѣчательной партіи. Не касаясь теперь ни философскихъ, ни историческихъ трудовъ Хомякова, мы говоримъ только объ однихъ его лирическихъ произведеніяхъ.

Читая книжку его стихотвореній, прежде всего видишь въ нихъ постоянное чувство общеславянской любви, въ лучшемъ ея значеніи. Это поэтъ панславизма, проповѣдующій братство славянскихъ племенъ и глубоко вѣрююций въ ихъ жизненную силу и будущее призваніе. Въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ неутомимо преслѣдуетъ идею возрожденія славянскаго міра, призванного по его мнѣнію на великую роль въ жизни человѣчества, но разъединенного чуждыми вліяніемъ и собственной племенной враждою. И въ стихахъ Хомякова выражается постоянно мысль, что эти племена рано или поздно сольются въ общемъ семействѣ союзѣ, какъ «родные братья, дѣти матери одной». Самые теплые лирическія пѣсни его посвящены этому сла-

янскому братству: таковы его стихотворения: «Ода», «Орелъ», «Киевъ», «Не гордись передъ Бѣлградомъ», «Вставайте, отчовы распались». Во всѣхъ этихъ пьесахъ слышится поэтическій призывъ славянъ къ новой жизни, видны лирические мотивы на одно и то-же возвзваніе:

Вставайте, славянскіе браты,  
Болгаринъ, и сербъ, и хорватъ!  
Скорѣе другъ къ другу въ объятья,  
Скорѣй за отцовскій булатъ!

И вѣра въ будущее возрожденіе славянскихъ племенъ и въ близкую возможность эпохи, когда всѣ «славянскіе ручи сольются въ общемъ морѣ» — никогда не оставляла Хомякова. Разматривая стихотворенія его въ хронологическомъ порядке, легко видѣть, что въ продолженіе тридцати лѣтъ его не покидала мысль о близкомъ пробужденіи славянскихъ орловъ. Въ 1832 году онъ говорилъ:

Ихъ часъ придетъ! окрѣпнутъ крылья,  
Младые когти подростутъ,  
Вскричать орлы — и цѣнь насилия  
Желѣзнымъ клювомъ раскроютъ!

И чѣмъ далѣе, тѣмъ больше эта идея въ немъ крѣпнеть, становится его любимой надеждой и утѣшениемъ. Въ 1853 году онъ пишетъ:

Какъ ярки и радости полны  
Свѣтила грядущихъ вѣковъ!...  
Вскипите-жь, славянскія волны!  
Проснитесь, гнѣзды орловъ!

Въ этомъ дѣлѣ обновленія общеславянскаго міра и слиянія всѣхъ племенъ его въ одну семью, Хомяковъ даетъ главную и капитальную роль Россіи. Въ ней должны, по его мнѣнію, слиться какъ въ морѣ всѣ струи славянскихъ народностей. Въ ея груди, по выраженію поэта, «есть свѣ-

тлый ключъ», къ которому съ духовной жаждой соберутся народы». Къ Россіи не разъ обращается онъ съ призывомъ на этотъ подвигъ, который она должна совершить на славу всего славянскаго міра и для пользы человѣчества. Онъ говорить:

Тебя призвалъ на брань святую,  
Тебя Господь нашъ полюбилъ,  
Тебѣ далъ силу роковую,  
Да сокрушишь ты волю злую  
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силь...  
Иди! тебя зовутъ народы!  
И совершивъ свой бранный пиръ,  
Даруй имъ даръ святой свободы,  
Дай мысли жизнь, дай жизни миры!

И для выполненія этого призванія, по идеѣ Хомякова, нужны не сила и оружіе, а правда и духовное единство любви. Русскій народъ долженъ, по его словамъ, отрѣшиться отъ своего вѣковаго историческаго самообольщенія, отъ духа вражды и апатіи, долженъ «омыть себя водою покаянія и съ душою колѣнопреклоненной исцѣлить елеемъ плача раны растлѣнной совѣсти». Задача, какъ видно, довольно не легкая! Но прѣвецъ славянизма увѣряетъ, что не смотря на всякия гражданскія язвы, въ одномъ нашемъ обществѣ таятся теплые силы международной любви, что только у насъ есть духовное начало, которому суждено обновить міръ новой жизнію. И онъ неизмѣнно вѣритъ, что настанетъ время, когда всѣ эти тайные силы вырвутся наружу живымъ и неизсякаемымъ потокомъ.

Изъ этого понятно, что Хомяковъ былъ поэтъ славянскаго единства, проповѣдникъ международной любви, и въ этой идеѣ онъ почерпалъ несомнѣнную силу образовъ и красокъ. Людей, незнакомыхъ съ славянофильствомъ, можетъ поразить въ его стихахъ что-то недосказанное въ

отношениі высокой роли Россіи къ обновленію человѣчества. Въ идеахъ поэта иные, пожалуй, увидать противорѣчіе: въ однихъ стихотвореніяхъ краски, которыми поэтъ рисуетъ свою избранницу, слишкомъ мрачны и напоминаютъ обличенія пороковъ, громившихъ заблудшій народъ. Вотъ какъ онъ обращается къ Россіи:

Въ судахъ черна неправдой черной  
И ногомъ рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи тлетворной,  
И хвани мертвой и позорной,  
И всякой мерзости полна!

Въ другомъ стихотвореніи, посвященному тоже «Россіи», говоря о непрочности славы и богатства, Хомяковъ высказываетъ, что ей сужено:

Хранить для міра достойные  
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ;  
Хранить племянь святое братство,  
Любви живительный сосудъ,  
И вѣры пламенной богатство,  
И правду и безкровный судъ.

Въ сущности тутъ нѣтъ противорѣчія. Хомяковъ выражаетъ ту идею, что въ народѣ таятся у насъ свѣжія, здоровыя силы, которые при развитіи могутъ дать основы высокой жизни, правды и добра; но онъ заглушенъ ходомъ историческихъ обстоятельствъ и наплывомъ чуждой цивилизациі, насильственно навязанной русскому обществу. Въ этой-то мысли скрывается, по нашему мнѣнію, разгадка того, что поэзія Хомякова, какъ и вообще мысль всей славянофильской партіи, то обращается въ какую-то смиреннопокаянную литанію, въ какое-то эксплативное приниженіе личности, то переходитъ въ гордость избраннаго народа, считающаго себя единственнымъ сосудомъ, въ которомъ таятся всѣ доблести, всѣ духовныя сокровища, всѣ надежды человѣчества на будущее счастіе.

Отсюда возникаетъ у него и неизбѣжный переходъ къ мысли о гниломъ западѣ и близкой его гибели. По мнѣнію Хомякова, западъ отжилъ и едва дышеть въ послѣднихъ судорогахъ предсмертной агоніи; вся блестящая эпоха его могущества, славы, науки и искусства минула и болѣе не воротится. Прочтите его стихотвореніе «Мечта», писанное въ 1834 году. Тутъ онъ говорить уже о западѣ, какъ о чѣмъ-то умершемъ, но только еще не погребенномъ, и ждетъ обновленія только отъ одного смиренного востока, хотя «полного лѣпи и неправды», но таящаго въ себѣ «ключъ живой вѣры». Тономъ вѣщаго пророка онъ предсказываетъ Европѣ конечное разрушеніе. Читая стихи Хомякова, трепещешь за этотъ погибающій западъ и думаешь, что вотъ - вотъ онъ рушится не сегодня таѣ завтра. И самые пламенные громы этого славянскаго Іереміи направлены на Англію: это его Содомъ и Гоморра, которому онъ посыпаетъ проклятія и укоризны, сожалѣнія и слезы. Вспомните его прекрасное стихотвореніе «Островъ»:

Дочь любимая природы,  
Благодатная земля!  
Какъ кипятъ твои народы,  
Какъ дѣтутъ твоя поля!...  
Ты счастлива, ты богата,  
Ты роскошна, ты сильна...  
Но за то, что ты лукава,  
Но за то, что ты горда,  
Что тебѣ мірская слава  
Выше Божьяго суда;  
Но за то, что церковь Божью  
Святотатственной рукой  
Приковала ты къ подножью  
Власти суетной, земной:  
Для тебя, морей царица,  
День придетъ — и близокъ онъ—  
Блескъ твой, злато, багряница  
Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ...

Пусть Англія опоясываетъ весь міръ своими колоніями, предписываетъ законы половинѣ Азіи, располагаетъ судьбами Европы, пускай вся она искрестится желѣзными дорогами и всякий годъ дарить человѣчеству новыя изобрѣтенія, — все это ничего не значитъ. Ясновидящій поэтъ прозрѣлъ, что весь западъ гніетъ въ макабрской плясѣ своей гордости,

И скрывъ въ груди предсмертный стонъ,  
Куетъ безсильныхъ крамолы,  
Дрожа надъ бездной, Альбіонъ

Все это ясно показываетъ, что Хомяковъ былъ истиннымъ представителемъ славянской партіи, что въ немъ отразились ея идеи со всею теплотою правды и всею рѣзкостью исключительности. Читая стихи его теперь, когда обѣ крайнія партіи западниковъ и славянофиловъ сошли въ исторический архивъ прошлаго, мы не можемъ не признать нѣкоторыхъ свѣтлыхъ идей и теплого чувства въ поэту славянизма, но въ то же время, не можемъ не указать на его заблужденія, странныя и парадоксальные, хотя всегда искреннія и честныя.

Какъ поэтъ, Хомяковъ отличается своеобразнымъ направлѣніемъ: его стихъ всегда можно узнать по оригиналльной и ярко обозначенной физіономіи: въ немъ своя плоть и кровь, свой цвѣтъ и благоуханіе. Языкъ его не всегда точенъ и чистъ, но онъ вездѣ отличается какимъ-то широкимъ размахомъ и смѣлостью, переходящей даже въ какое-то богатырство; онъ, кажется, играетъ своею силой напоказъ, изъ какого-то поэтическаго молодечества. Можно сказать, что карандашъ Хомякова, смѣло набрасывая рѣзкій очеркъ, прорѣзаетъ иногда самую бумагу. У него «земля кадитъ дыханьемъ подъ росою благоухающихъ цвѣтовъ», «кометы бурныхъ съчъ бродятъ въ высотѣ», «водохно-

сенья сливаются *въ яркихъ радугахъ*. Но въ то-же время у него есть стихотворенія, въ которыхъ сила и точность образовъ, правильность и строгость выраженія — вполнѣ безукоризненны.

Славянская партія, какъ мы говорили, существовала не напрасно и дѣйствовала честно: съ нею можно было не соглашаться, горячо спорить и энергически бороться, но во всякомъ случаѣ ей нельзя отказать въ уваженіи. Вотъ почему и стихи Хомякова не умрутъ въ нашей литературѣ, какъ живой памятникъ этой односторонней, но честной и полезной партіи.

---

## МЕРТВОЕ МОРЬ

и

## ВЗБАЛАМУЧЕННОЕ МОРЬ.

(Разборъ романа г. Писемского).

Аллегорическое заглавіе романа Писемского, въ которомъ онъ подъ видомъ взбаламученного моря хотѣлъ представить современное состояніе русскаго общества, даетъ поводъ и намъ начать отзывъ о немъ въ аллегорическомъ тонѣ.

Бываетъ въ житейскомъ морѣ пора тяжелаго затишья, когда общественная жизнь какъ-будто замираетъ, останавливается въ своемъ движениіи, представляетъ ничѣмъ невозмутимое мертвое море. И, пріученный этимъ однообразіемъ, глазъ такъ присматривается къ неподвижной глади, что она не поражаетъ его, даже мало-по-малу начинаетъ нравиться своей тишиною, какъ нравится тишина уединеннаго, покинутаго кладбища. Не плещутъ въ этомъ стоячемъ морѣ тревожныя волны, не бѣствуютъ на нихъ смѣлыя и неосторожныя суда; все на его гладкой поверхности

и въ самомъ воздухѣ дышетъ невозмутимъ спокойствiemъ. Но что дѣлается въ это время подъ его тихой, неколеблющейся скатертью? Тамъ, въ невидимой глубинѣ, скопляются замирающія поросли, улегаются на дно живые элементы; все, что было въ немъ жизненнаго, разлагается и тлѣтъ. И чѣмъ дольше стоитъ въ своей тишинѣ это мертвое море, чѣмъ дольше не взбаламутится оно вѣтромъ или бурей, тѣмъ болѣе гибнетъ въ немъ жизни, накапливается тлѣющихъ организмовъ, тѣмъ болѣе испаряется и улетучивается изъ него свѣжей жизненной влаги. Неподвижное море, не волнуемое вѣтромъ жизни, мало-по-малу зарастаетъ, плѣснѣеть.

Но вотъ, къ счастію, поднимается свѣжій вѣтеръ, колеблетъ и расшатываетъ мертвое море. Просыпаются его неподвижныя воды и ходятъ по его поверхности безшоковыми волнами; встаётъ со дна. улежавшаяся въ теченіе многихъ лѣтъ тина и гниль, и высоко поднимаются Ѣдкіе міазмы. Взбаламученное море выбрасываетъ наверхъ все, что накопилось въ его глубинахъ въ пору мертваго застоя. Поднимаются и истлѣвшіе остатки организмовъ, и тяжелыя испаренія отъ устоявшейся гнили; поднимаются и драгоценности, лежавшія на днѣ его, подъ слоями накопившейся тины. И не въ первый разъ мы видимъ въ исторіи человѣчества картину взбаламученного моря жизни. Тяжело смотрѣть, какъ при напорѣ вѣтра встаютъ на немъ мутные волны и выкидываются на поверхность поднятую изъ глубины грязную тину; но вы радуетесь въ то же время, что наконецъ всколебался застой, на мертвой до сихъ-порѣ скатерти пахнуло дыханіемъ жизни, и передъ вашими глазами выкидывается со дна то дорогой кораль, то жемчужную раковину, какихъ вы давно уже не находили на берегахъ этой мертвой глади. И вы не отворачи-

ваетесь отъ этой картины, не проклинаете вѣтра, взбаламутившаго море. Вы видите въ этомъ явленіе естественное, даже необходимое, знаете, что эта муть порождена долгимъ затишьемъ, что вѣтеръ размечетъ тину, очистить воду, освѣжить воздухъ—и оживится море присутствіемъ человѣка, и рыбакъ бросить въ него свои сѣти, и забыть на немъ паруса кораблей.

Если море, съ его тихой и свѣтлой лазурью или съ грозными всплесками бурныхъ волнъ, можетъ быть предметомъ картины, то почему-же художнику не представить и взбаламученного моря, съ его мутною тиной и грязной пѣною? Рюисдаль умѣль-же сдѣлать живописнымъ и поэтическимъ гніюще болото, Айвазовскій—дикій, чудовищный хаосъ. Дѣло въ томъ только, чтобы художникъ, какъ въ свѣтломъ пейзажѣ голубыхъ водъ, такъ и въ темной картинѣ помутившагося моря, умѣль найти слѣдъ какой-нибудь жизни, выразить живую мысль и вѣчную истину. А это зависитъ оттого, какъ художникъ отнесется къ своему предмету, съ какой мыслью и въ какую минуту онъ на него взглянетъ. Нелегко писать картину взбаламученного моря, когда оно еще кипитъ своей мутью, когда въ немъ не улеглась поднятая вѣтромъ грязь, когда глазу еще трудно въ массахъ тины различить жемчугъ и золото. Тутъ художнику необходимо отрѣшиваться отъ тяжелаго впечатлѣнія первого момента, взглянуть на предметъ не какъ случайному зрителю, котораго мутныя волны задѣли своими брызгами, а какъ спокойному созерцателю одного изъ естественныхъ и необходимыхъ явленій въ природѣ. При такомъ только взглядѣ на жизненное явленіе художникъ въ состояніи будетъ дать намъ вѣрную и свѣтлую картину, а не темный образъ, писаный кистью, обмакнутой въ томъ же мутномъ источникеъ.

Ничто такъ не занимаетъ у нась въ настоящее время мыслящаго человѣка, какъ характеръ современного общества и особенно нашего молодаго поколѣнія. Всякій, кому дорога будущность отечества, кто съ участіемъ смотрить на его обновляющуюся жизнь, сочувствуетъ ея современному движенію, не можетъ не видѣть темныхъ сторонъ этого поколѣнія, на которое мы возлагали столько упованій. Но тутъ является вопросъ: имѣемъ-ли мы право судить это молодое поколѣніе, не являясь и сами подсудимыми, на одной скамьѣ съ нимъ? Не обязаны-ли мы подумать: при какихъ обстоятельствахъ оно выросло и воспиталось, чмму оно училось и къ чмму прислушивалось, кто былъ его руководителемъ въ дѣлѣ науки и убѣждений, кто пріучилъ его къ дѣльному труду, къ солидной мысли, кто показалъ ему идеалы въ жизни и наукѣ—словомъ, какую подготовку дало наше старое поколѣніе молодому? Положа руку на сердце, всякий долженъ сознаться, что въ тѣ годы, когда воспитывалось наше новое поколѣніе, мы сами, въ своемъ мертвомъ морѣ, были незавидными педагогами. Послѣ стародавней механической рутины, когда наши головы забивали тупымъ заучиваньемъ сухихъ и мертвыхъ учебниковъ, мы бросились въ такъ-называемое развиtіе и, переливая изъ одной крайности въ другую, начали разжевывать дѣтямъ въ мелкую жвачку самые обыкновенные научные предметы, и тѣмъ отучили ихъ отъ всякой самодѣятельности. Въ видахъ ускоренного развитія нашего юношества, мы пріучали молодой умъ ходить вѣчно на помочахъ, убивали въ немъ всякую возможность самостоятельного труда. Воспитательныя реформы вскружили намъ голову: въ учебныхъ заведеніяхъ шла постоянная ломка курсовъ—то вводили древніе языки, то замѣняли ихъ законовѣдѣніемъ, то на мѣсто его ставили естественныя нау-

ки. Каждый начальникъ и полуначальникъ заведенія сталъ радикальнымъ преобразователемъ, хазяйничалъ съ наукой и воспитаніемъ по личному вкусу и наклонностямъ: ничему не давали утвердиться въ почвѣ; едва вводили какую-нибудь систему, какъ сейчасъ-же требовали отъ нея питательныхъ плодовъ, и если они не выростали на другой-же день, то вырывали посаженное съ корнемъ и садили на мѣсто его другое. Никто не думалъ, что наука требуетъ покоя и терпѣнія. Мудрено ли послѣ этого, что у насть дошли до сомнѣнія, есть-ли какая-нибудь наука и въ Европѣ? И воть мы начали трактовать свысока о самыхъ прочныхъ и вліятельныхъ иностранныхъ заведеніяхъ, презрительно отзываться о заграничныхъ университетахъ, смѣяться надъ изученіемъ древнихъ языковъ, отѣшивать первоклассныхъ ученыхъ. Пролетая въ лѣтнія каникулы по желѣзнымъ дорогамъ черезъ Лейпцигъ и Гейдельбергъ, наши воспитатели и наставники съ важностью сообщали намъ свои критические взгляды на состояніе науки и преподаванія въ Германіи; перелистывая мимоходомъ купленныя руководства, самонадѣянно толковали намъ о педантизмѣ и сухости прославленныхъ европейскихъ ученыхъ. Все это, изволите видѣть, старые, сколастика! Понятно, какъ должно было воспитаться при этомъ наше молодое поколѣніе. Пріученное нами къ верхоглядству и пренебреженію солидныхъ знаній, оно не думало о серьезномъ труде, а бросилось на послѣдніе результаты, выработанные европейской исторіей, и стало примѣнять ихъ, не оглядываясь, къ своей жизни. Кто- же виновать въ этомъ, какъ не наше старое поколѣніе?

Но дѣйствительно-ли въ нашей молодежи однѣ эти темные стороны? Неужели въ этомъ поколѣніи, испорченномъ нашимъ жалкимъ и необдуманнымъ воспитаніемъ, не

осталось ничего здороваго? неужели мы успѣли заглушить въ немъ всѣ свѣжія силы, подавить всѣ добрыя природныя начала? Мы увѣрены, что самые упорные пессимисты и гонители молодаго поколѣнія не отвѣтятъ на это утвердительно и согласятся, что наше вѣбаламученное море выбрасываетъ не одну гнилую тину. Кто среди мелочей, шустоты и верхоглядства не замѣтитъ въ молодомъ поколѣніи и свѣтлыхъ сторонъ? Важно уже то, что оно отрѣшилось отъ застое и неподвижности, что въ немъ пробудилась, хоть и безсознательная потребность дѣятельности, что оно ищетъ новыхъ идеаловъ. Конечно, далеко еще отъ этихъ неопределенныхъ порывовъ до серьезнаго и разумнаго труда, но все-же это не упорный застой мертваго моря. Наша молодежь, по естественному ходу вещей, увлекаясь разными чужими доктринаами, отъ серьезнаго занятія наукой бросалась въ дешевое щегольство готовыми идеями, тратила силы на борьбу ненужную и бесплодную; но зато она отвернулась отъ карти, распутства, показала участіе къ предметамъ заслуживающимъ уваженіе. Имѣемъ ли мы право бросить камень въ наше молодое поколѣніе за то, что оно не выросло у насъ какимъ-то идеаломъ?...

Мысль представить въ литературномъ произведеніи характеристику настоящаго общества, въ двухъ поколѣніяхъ отцовъ и дѣтей, заняла уже художника, который у насъ прежде другихъ умѣть отзываться на всѣ насущные вопросы жизни. Въ двухъ романахъ Тurgеневъ художнически отозвался на эту современную мысль, воплощая ее въ живыя лица. Въ Еленѣ Стаковой и Базаровѣ показалъ онъ представителей молодаго поколѣнія, въ томъ проявленіи нашей жизни, которое онъ назвалъ опошленнымъ теперь именемъ «нигилизма». Въ одной это направленіе таилось еще въ зародышѣ, въ другомъ оно проявилось въ полномъ развитіи. Оба

эти лица—живые типы нашего современного поколѣнія, въ томъ именно смыслѣ, какъ понимается типъ въ искусствѣ, то-есть, какъ художественное сліаніе всѣхъ частностей опредѣленного характера въ одну цѣльную и живую личность. И Тургеневъ отнесся къ молодому поколѣнію не какъ раздраженный памфлетистъ, съ предвзятой мыслью выставить однѣ темныя стороны современного движенія, но какъ художникъ, спокойно созерцающій жизнь, со всѣми ея разносторонними явленіями, со всей игрою тѣни и свѣта. Его лица—не выпускныя фигуры, спитыя изъ однѣхъ темныхъ страстей для того, чтобы показать въ карикатурѣ общество, а живые образы, взятые изъ этого общества во всей ихъ индивидуальной цѣлостности. Вотъ почему романы Тургенева долго не забудутся. Молодежь, конечно, не была довольна несовсѣмъ лестнымъ для нея типомъ Базарова, но и она не могла сказать, чтобы авторъ оклеветалъ ее въ лицѣ этого нигѣлиста. Тургеневъ, показывая въ Базаровѣ темныя стороны нового поколѣнія, не скрылъ и его здоровыхъ силъ; вы могли не сочувствовать этому лицу, но не могли и не чувствовать къ нему уваженія. Относясь симпатически къ отцамъ за ихъ мягкость и сердечность, нашъ романистъ не выставилъ дѣтей къ позорному столбу за ихъ недостатки, въ которыхъ были виноваты отцы; онъ только давалъ намъ опоэтизированную картину нового общества. Съ художественнымъ тактомъ, задумывая романъ во время полное событий, Тургеневъ не привязалъ своихъ лицъ къ интересамъ текущаго дня, зная, что взглядъ на настоящій моментъ не можетъ быть правиленъ, пока время своимъ неподкупнымъ ходомъ не обрисуетъ его въ истинномъ значеніи и свѣтѣ. Не старческая привязанность къ прошлому внушила романисту нѣкоторую симпатію къ отцамъ, не раздражительное

недовольство настоящимъ водило єго кистью, когда онъ писалъ портреты ихъ дѣтей. Истинный художникъ не сердится на дѣйствительность—онъ ее живописуетъ.

Теперь спросимъ всѣхъ, кто читалъ «Взбаламученное Море» Писемскаго—а его, безъ сомнѣнія, прочла уже вся наша читающая публика—такъ-ли задуманъ и выполненъ этотъ романъ, какъ задумываются и выполняются произведения истинно-художественные, и можемъ-ли мы поставить его наряду съ романами Тургенева, о которыхъ сей-часъ говорили?

Идея «Взбаламученного Моря», какъ опредѣляетъ категорически самъ авторъ въ концѣ сочиненія—представить картину нашего современного общества въ темныхъ явленіяхъ недавно-минувшихъ событий. «Если въ ней, говоритъ Писемскій, не отразилась вся Россія, зато тщательно собрана вся ея ложь... Пусть нась уличать, что мы наклеветали на дѣйствительность». Не думая вовсе обвинять автора въ такомъ ужасномъ намѣреніи, мы рѣшаемся однako же взглянуть безъ предубѣжденія на картину этой лжи и опредѣлить, дѣйствительно-ли въ ней одна только правда.

Мы не принадлежимъ въ категоріи оптимистовъ, восхищающихся исполинскими шагами русского богатыря на пути общественного и гражданского развитія, о чёмъ такъ много кричали у нась въ послѣдніе годы; но въ то-же время мы не видимъ въ русскомъ обществѣ и той повальней, непроходимой грязи, на которой Писемскій поставилъ фундаментъ своего новаго романа. Неужели, спрашиваемъ мы, все наше общество можетъ быть собрано въ фокусъ того кружка, который расплывается у него по всей широкой поверхности его взбаламученного моря? Неужели все это общество выражается личностями грабителей Галки-

ныхъ, фарисеевъ Ливановыхъ и грязныхъ діогеновъ Іонъ-Циниковъ, вся наша молодежь состоитъ изъ Басардинахъ, Петцоловыхъ, Софи Леневыхъ и Еленъ Базелейнь? Неужели у насъ видны только, какъ увѣряетъ авторъ, разные господа, статские и военные, чельпѣе которыхъ трудно что-нибудь и вообразить себѣ: «Въ головѣ положительно ничего! пусто! свящъ! Заберутся въ это пространство двѣ-три модныхъ идеїки... Что овѣ такое, откуда вытекаютъ? онъ и знать этого не хочетъ, а преть только въ одну сторону, какъ лошадь съ колеромъ, а другое при этомъ еще и говоруны; точно мельницы, у которыхъ нѣтъ нужныхъ колесъ и есть лишнія: мелеть, стучить, а ничего не вымалываетъ». И это характеристика всего общества!... Конечно, кто не видаль экземпляровъ такого рода въ послѣднее время! но неужели, спросимъ мы, художникъ можетъ изъ однихъ подобныхъ лицъ составить картину современной жизни, для выраженія заранѣе взятой идеи? Изъ кого-же, спрашивается, набиралась эта толпа людей, которая принимала живое участіе въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса, наполняла міровыя учрежденія такимъ количествомъ полезныхъ дѣятелей, на какое въ первое время не разсчитывало и само правительство? кто рукоплескалъ всѣмъ полезнымъ реформамъ нашего времени? въ комъ возбуждало теплое сочувствіе преобразованіе судопроизводства, отмѣна тѣлеснаго наказанія, новый университетскій уставъ, распространеніе грамотности, начало крестьянского самоуправленія? Или радость всего русскаго общества была только модной маскою? Жаль, что Писемскій не довѣль дѣйствія своего романа до позднѣйшаго времени. Какъ взглянуль-бы онъ на русскій народъ съ началомъ польскаго восстанія? Какъ обошелъ-бы онъ тотъ патріотизмъ, какой проснулся во всѣхъ слояхъ нашего общества, лишь

только дѣло дошло до настоящаго дѣла? Гдѣ теперь его взбаламученное море, и такъ-ли оно было мутно? Тотъ-ли это крестьянскій мірь отозвался въ тысячахъ адресовъ, который авторъ характеризовалъ, въ одномъ изъ эпизодовъ романа, какой-то толпою ничего не понимающихъ дѣтей? Откуда-же этотъ общерусскій патріотизмъ, этотъ единодушный ропотъ націи при первомъ оскорблениі народнаго чувства? Еслибы взбаламученное море дѣйствительно представляло одну сплошную массу типы, откуда взялись бы эти грозныя, но свѣтлые волны, которыхъ ропотъ отозвался во всей Европѣ?

Нѣть, не общую картину нашего общества написалъ Писемскій въ своемъ романѣ, не спокойнымъ взглядомъ художника посмотрѣлъ онъ на современную жизнь, не въ свѣтлыхъ минуты творческаго созерцанія создавалъ онъ свои типы! Въ идеѣ и въ исполненіи его романа видны раздраженіе и испугъ. Помните-ли вы сцены при большомъ петербургскомъ пожарѣ? Перепуганные этой несчастной катастрофой, бѣдные люди совсѣмъ терали голову, вѣриди самыи несбыточныи нелѣпостямъ, въ грязныхъ пятнахъ на заборахъ видѣли горючій составъ, готовый воспламениться при первомъ лучѣ солнца, въ каждомъ прохожемъ подозрѣвали зажигателя, за необдуманно-сказанное слово тащили къ расправѣ или расправлялись сами. При первомъ заревѣ, въ паническомъ страхѣ, поднимали они отчаянныи крики, отрывали настежь одна и выбрасывали изъ третьихъ и четвертыхъ этажей на мостовую мебель, посуду, книги, зеркала, фортепьяно. Такимъ точно испугомъ вѣтъ и отъ романа Писемскаго. Въ печальную минуту увлеченій нашей молодежи, при первомъ блескѣ искры, вспыхнувшей отъ нашей собственной неосторожности, авторъ преувеличилъ опасность и во всякомъ, въ сущности неопасномъ,

кружекъ готовъ былъ видѣть общественныхъ зажигателей. Когда загорѣлся уголъ чердака, ему показалось, что уже пылаеть все зданіе, сверху до низу, во всю ширину фасада. И вотъ, съ испугомъ растерявшагося человѣка, которому кажется страннымъ и невѣроятнымъ, что отъ треснувшей печи, какъ только ее затопили, затлѣлся одинъ уголокъ, онъ готовъ выбрасывать за окно чуть-ли не все общественное хозяйство. Ему ужъ кажется, что и страховая учрежденія, обезпечивающія нашу безопасность, должны лопнуть и отказать намъ въ помощи, при томъ опустошительномъ пожарѣ, который пылаеть въ его испуганномъ воображеніи... Такимъ характеромъ отличается, по нашему мнѣнію, «Взбаламученное Море».

Понятно, что въ такомъ случаѣ романъ г. Писемскаго нельзя поставить наряду съ романами Тургенева. У тогдѣ въ идеѣ, положеніяхъ и лицахъ слышится сердечность, которая возникаетъ изъ сочувствія къ обществу и его интересамъ. Какъ спокойный художникъ, взглянуль Тургеневъ на нашу общественную жизнь, писаль явленія ея настоящими красками, а не покрываль всю картину однимъ темнымъ цвѣтомъ. Безъ жолчи негодованія отнесся онъ къ отцамъ и дѣтамъ, къ старому и молодому поколѣніямъ, и оттого въ его сочиненіи мы находимъ картину, а не карикатуру эпохи. Въ романѣ-же Писемскаго видѣнъ не художникъ, спокойно созерцающій общественную жизнь, а скорѣе раздраженный ея порицатель: въ отношеніи его къ обществу вѣтъ нескрываемое пристрастіе. Здѣсь художественная идея обратилась въ предвзятую мысль, картина въ обличительную сатиру, любовь выродилась въ развратъ, минутный недугъ въ повальной и хроническую заразу...

Впрочемъ, необходимо оговориться. Эта характеристика относится не ко всему роману г. Писемскаго въ одинаковой

степени: онъ распадается на двѣ половины, замѣтно отличные по характеру и тону. Въ первыхъ частяхъ «Взбаламученного Моря» видны еще обыкновенные условія творчества, не выдается еще предвзятая идея, не бьетъ въ глаза умышленная сатира на молодое поколѣніе. Начало романа даже заставляетъ ожидать художественного произведения. Воспитаніе Надежды Павловны въ домѣ московского аристократа, ея возвращеніе въ деревню и семейная жизнь, молодость Софи и первые шаги ея въ жизни, студенческіе годы Бакланова и его первые подвиги въ провинціи—все это отличается несомнѣнной истиной и жизнью. Тутъ являются и лучшія лица повѣсти—страстная и со-средоточенная панна Казиміра, добродушный поклонник Бакланова Венячинъ, наконецъ несравненный Викторъ Белардинъ, въ сценахъ съ матерью и теткой—одно изъ удачнѣйшихъ созданій Писемскаго. Правда, и здесь мѣстами вы предчувствуете, что авторъ обращается только къ грязной сторонѣ жизни: таъ онъ выводить московскихъ студентовъ въ трактиры «Британія» и въ скандалахъ при дебютахъ танцовщицы Андреяновой, а ни одной чертой не указываетъ на ту сторону университетской жизни, когда дѣйствовалъ кружокъ Грановскаго, когда московскія аудиторіи образовали толпу молодыхъ людей дѣятельныхъ и полезныхъ. При всемъ-томъ, въ первой половинѣ романа намѣреніе показать одну грязь и пошлость было еще маскировано, и еслибы все сочиненіе кончилось въ томъ-же тонѣ, мы могли-бы назвать его если не художественнымъ, то довольно правдивымъ.

Но съ первой-же главы четвертой части характеръ романа замѣтно мѣняется. Изъ общей картины общественной жизни сочиненіе превращается въ обличительную сатиру, которая бьетъ исключительно въ послѣднія проявленія

жизни нашего молодаго поколѣнія. Авторъ становится не-умолимымъ Ювеналомъ молодежи: начинаются бурные всплески, неумолкающій приливъ и отливъ взбаламученного моря. Подъ вліяніемъ испуга, о которомъ мы говорили, романъ быстро теряетъ свой покойный, эпический ходъ: дѣйствіе не развивается уже органически изъ самого себя, а увеличивается только отъ виѣшняго нароста случайныхъ положеній. Являются новые, многочисленныя сцены только потому, что согласно программѣ автора ему нужно было отдать откупщика, студента, акціонера, сотрудника журнала, русскаго путешественника за-границей, эманципированную барышню, недоучившагося офицера. Дальнѣйшія похожденія Бакланова и Софи ведутъ уже не къ раскрытию человѣческаго сердца, не къ обрисовкѣ нашей обществен-ной жизни, а только къ возможно-большему проявленію міазмовъ взбаламученного моря. Испугъ автора обнаруживается съ каждой частью яснѣе, съ каждой главой онъ больше находить въ обществѣ страшныхъ людей съ зажигательными спичками въ карманѣ. Картина расширяется. Авторъ могъ-бы, очевидно, вместо трехъ написать еще тридцать частей, могъ-бы заставить своего героя овдовѣть, жениться на другой такъ-же неожиданно, какъ онъ же-нится на каменной Евправсіи, а отъ второй жены опять вступить въ новый бракъ. Впрочемъ, романъ и остается не конченнымъ, какъ-будто ждетъ продолженія. И намъ ка-жется, еслибы авторъ не поторопился печатать его въ журналь, то могъ-бы легко довести до самой послѣдней эпохи и дополнить панораму взбаламученного моря сценами на улицахъ Варшавы, въ лѣсахъ Бѣлоруссіи и Литвы... Лю-бопытно, кто-бы изъ его лицъ превратился въ Пустовой-товыхъ и жандармовъ-вѣшателей—а подобныхъ превращеній на страницахъ «Взбаламученного Моря» немало.

Содержание романа г. Писемского определило и обусловило его изложение и тонъ. Если первая половина сочинения отличается характеромъ обыкновенного современного романа, по обработкѣ многихъ сценъ и лицъ, то со второй половины оно принимаетъ характеръ фельетонный. Художественного развитія тутъ нѣть уже и слѣдовъ: сцены являются случайно, становятся отрывочными, можно сказать—газетными; разсказъ принимаетъ тревожный, лихорадочный тонъ, превращается въ какіе-то беллетристические афоризмы. Вновь появляющіяся лица—нетолько не характеры, даже не портреты, а небрежные эскизы, съ чертами неполными и угловатыми. Вы чувствуете, что романість, съ каждой новой сценою, все болѣе и болѣе теряетъ спокойствіе, превращается въ публициста, въ газетнаго фельетониста, который слѣдитъ только за новостями текущаго дня, съ заранѣе взятой программой. Авторъ наконецъ обращается даже къ лиризму и вводить въ романъ самого себя. Сначала мы подумали, что при этомъ онъ дастъ намъ хоть одно лицо, въ которомъ выразилась бы свѣтлая искра, существующая освѣтить мракъ взбаламученного моря необходимымъ въ художественномъ произведеніи идеаломъ. Но къ сожалѣнію, вся роль автора въ романѣ ограничилась однимъ только чтенiemъ «Старческаго грѣха» у мадамъ Лелевой.

Но говоря объ исполненіи романа г. Писемского, нельзя не сказать, что при характерѣ чисто-фельетонномъ, въ немъ есть одно важное достоинство, отличающее его отъ массы нашихъ журнальныхъ романовъ и даже отъ другихъ, болѣе художественныхъ произведеній автора «Тысячи Душъ»: это постоянная занимательность, которая не только не слабѣетъ съ одностороннимъ развитіемъ дѣйствія, а напротивъ ростетъ, чѣмъ болѣе романъ становится

фельетоннымъ. Вы не соглашаетесь съ воззрѣніемъ автора на нашу жизнь, видите, что онъ старается темной стороною только нѣкоторыхъ кружковъ охарактеризовать все наше общество, но вы не бросите романа и непремѣнно дочтете его до конца. Это зависитъ съ одной стороны отъ разнообразія охваченныхъ имъ явленій и вопросовъ, которые хоть и рѣшаются односторонне, но все-таки сильно васъ занимаютъ, напоминая многое, чему вы были свидѣтелями въ послѣдніе годы; съ другой стороны занимательность эта происходитъ и отъ извѣстнаго таланта автора рисовать разнообразныя сцены, любопытныя положенія, отъ живаго разсказа и бойкаго разговора, отъ умѣнья группировать интересныя частности, которая живо поддерживаютъ ваше вниманіе. Давно извѣстное, въ этомъ отношеніи, дарованіе Писемскаго нисколько не уменьшилось и въ новомъ его произведеніи. Мы находимъ даже, что это сочиненіе открываетъ въ авторѣ талантъ фельетоннаго романиста, который могъ-бы доставить нашей публикѣ бездну наслажденія на страницахъ ежедневныхъ газетъ, давая ей такія-же современныя и легкія сцены, какими бывало мы любовались въ журнальныхъ романахъ Александра Дюма, Поля Февала и др.

Мы закончимъ сравненіемъ. Можно-ли назвать картиной такую задачу художника, въ которой представлено взолнованное море, и на немъ ничего нѣть, кроме волнъ—ни клочка берега, ни островка, ни корабля, ни паруса лодки? Такое именно значеніе находимъ мы и въ романѣ Писемскаго. Въ немъ глазъ не встрѣчаетъ ничего, кроме массы волнъ, выкидывающихъ одни мутные осадки долго застоявшагося мертваго моря,—а извѣстно, что подобное зрѣлище противорѣчитъ основнымъ требованіямъ искусства. Но намъ давно уже могли возразить: неужели мы не при-

знаемъ поэтому художественного значенія «Мертвыхъ Душъ»? Напротивъ, мы на нихъ-то и хотимъ окончательно указать въ подкѣплѣніе нашей мысли. Въ этомъ произведеніи художникъ даетъ картину не сплошь-грязнаго моря: тутъ вы чувствуете присутствіе человѣка въ невидимомъ, но ясномъ для васъ лицѣ самого автора, видите художественное созданіе, въ которомъ сквозь стоячую тину пошлости проступаетъ свѣтъ истины. Авторъ «Взбаламученнаго Моря», напротивъ, отнесся къ своимъ героямъ съ однимъ чувствомъ личнаго раздраженія на явленія современной жизни. Гоголь взялъ прежде всего дѣйствительную или выдуманную исторію о покупкѣ мертвыхъ душъ, и какъ художникъ, обставилъ ее живыми образами, въ которыхъ и воплотилась жизненная идея. Г. Писемскій задался напередъ мыслью отдать наше молодое поколѣніе, и на эту предвзятую идею искусственно лѣпилъ сцены и лица, вставляя въ нихъ тѣ или другія черты съ исключительныхъ явленій. Въ грязной по обстановкѣ картинѣ Гоголя просвѣчивается свѣтлый идеалъ въ возврѣній автора и отношеній его къ своему созданію; у Писемскаго въ болѣшой части лицъ и сценъ выразилась заранѣе накипѣвшая непріязнь къ естественнымъ, хотя и непріятнымъ явленіямъ общественной жизни. Вотъ почему поэма Гоголя останется въ ряду вѣчно-неувѣдающихъ художественныхъ произведеній, а романъ Писемскаго, при всей его занимательности, будетъ забыть, какъ сочиненіе, писанное въ чаду временнаго увлеченія.

## БУРСА ВЪ ШКОЛЪ И ЛИТЕРАТУРЪ.

(«Очерки Бурсы», Н. Г. Помяловского).

«Очерки» Помяловского, давно известны нашей публике. Сочинение это, затрагивая один из важных общественных вопросовъ, вызвало въ свое время участие въ многочисленномъ классѣ читателей и вниманіе со стороны журналистики. Между тѣмъ ни сама эта книга, ни написанная по поводу ея замѣтки не исчерпали предмета, не уяснили его основной мысли, но даже не коснулись самыхъ видныхъ его сторонъ. А вопросъ этотъ, чуть не съ каждымъ днемъ, становится яснѣ, глубже затрагиваетъ общество, настоятельнѣе требуетъ разрѣшенія. Мы говоримъ о положеніи нашихъ духовныхъ училищъ, которыхъ организацію и внутренній бытъ представляеть, по живымъ и свѣжимъ воспоминаніямъ, одинъ изъ даровитыхъ питомцевъ бурсы. Пора наконецъ обратить вниманіе на предметъ, котораго важность для всѣхъ очевидна.

Кто читалъ «Очерки Бурсы», тотъ конечно не забылъ, какую печальную картину написалъ Помяловскій въ своихъ

замѣчательныхъ статяхъ. Помнится, кто-то сравнилъ тогда эти очерки съ записками изъ «Мертваго Дома». Несмотря на то, что инымъ эта мысль могла показаться слишкомъ эксцентричною, сближеніе однакожъ довольно мѣтко. Въ общемъ характеръ впечатлѣнія, въ типахъ и самыхъ краскахъ того и другаго сочиненія дѣйствительно не мало общаго. Оба писателя представили публикѣ рядъ портретовъ изъ такого темнаго быта, который былъ извѣстенъ ей смутно, по отрывочнымъ разсказамъ изъ вторыхъ рукъ. Тутъ увидѣла она его вполнѣ и ясно, услышала о немъ отъ людей, которыхъ судьба лично привела въ эту среду и ознакомила съ нею долгимъ опытомъ.

Помяловскій представляетъ въ своихъ очеркахъ картину бурсы, гдѣ самъ провелъ нѣсколько лѣтъ, и рисуетъ ее мрачными красками, хотя участіе въ товарищамъ и дума о судьбѣ ихъ дышатъ теплотою на страницахъ его книги. Вы помните, какой это печальный міръ! Здѣсь все возбуждаетъ грустное чувство — и жалкое состояніе науки, и жалкие нравы воспитанниковъ. Только средневѣковая сколастика, при встрѣчѣ съ самой грубою средою, могла породить такое отталкивающее явленіе. Было время, когда въ нашихъ свѣтскихъ заведеніяхъ господствовали допотопныя методы преподаванія, и ученье ограничивалось механическимъ заучиваніемъ ветхихъ учебниковъ, но это время къ счастію давно уже прошло. Если теперь наши школы не могутъ еще похвастаться раціональнымъ образованіемъ, если духъ науки еще не утвердился въ нихъ, не вошелъ въ плоть и кровь юношества, то по-крайней-мѣрѣ эти заведенія совсѣмъ почти успѣли очиститься отъ сколастики. Было время, когда и нравы въ нашихъ свѣтскихъ училищахъ были до - того незавидны, что многіе родители боились и мысли отдавать туда дѣтей. Те-

перь свѣтскія заведенія въ этомъ отношеніи измѣнились, и разсказы о школьныхъ безобразіяхъ остались только въ преданіяхъ старого поколѣнія.

Но очерки Помяловскаго относятся къ эпохѣ очень недавней, а между тѣмъ представляютъ много общаго съ тѣмъ бурсацкимъ бытомъ XVI вѣка, который Гоголь такъ художественно представилъ въ одной изъ своихъ повѣстей.

Если, читая «Очерки Бурсы», вы видите, какъ грубо содержаніе написанной авторомъ картины, какъ, по выражению художниковъ, *кричатъ* его краски, то чувствуете въ то-же время, что это происходитъ не отъ ложности рисунка или лубочной рѣзкости колорита, а напротивъ отъ одной только близости къ натурѣ. Припомните, съ какой осозаемою правдою представляетъ авторъ это учебное заведеніе, гдѣ сложилась, и изъ поколѣнія въ поколѣніе заучивалась пѣсня о томъ, «какъ блаженны народы, невѣдащіе наукъ» и какую нужно имѣть крѣпкую природу, для борьбы «съ училищными муками». Понятно, какова должна была быть среда, гдѣ въ кругу учащейся молодежи выработалось убѣжденіе, что занятие науками составляетъ муку и несчастіе, каково было тамъ образованіе, если сложились такія поучительныя пѣсни. И авторъ «Очерковъ» очень мягко называетъ египетскою работою это ученіе, гдѣ «главнымъ свойствомъ педагогической системы была ужасающая и мертвящая долбня, проникавшая въ кровь и кости, гдѣ пропустить букву, переставить слово считалось преступлениемъ, и гдѣ ученики, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смысла: «стыдъ и срамъ... стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ потомъ постигли». И такая египетская работа шла по всѣмъ наукамъ, начиная съ младшихъ классовъ до самыхъ высшихъ.

Подобная метода, при нравахъ какого-нибудь англійского общества—или сводить дѣтей въ могилу въ самыхъ раннихъ лѣтахъ, какъ диккенсова Поля Домби, или обращаетъ изъ нихъ кротко-идиотические субъекты, въ родѣ мистера Тутса. Но что должна была выработать такая учебная система при другихъ нравахъ, которыхъ почти не заѣла еще цивилизаци?'

Нелѣпая долбня и спартанскія наказанія, какъ показываетъ Помаловскій, образовали въ тогдашней бурсѣ такую среду, гдѣ все отличается поразительной дикостью—и учебные занятія, и взглядъ на жизнь, и товарищескія отношенія, и самыя игры и удовольствія. Возьмемъ нѣсколько подробностей изъ этой грустной картины. «Въ бурсѣ—говорить авторъ «Очерковъ»—добровольное сознаніе въ проступкѣ признавалось за пошлость и трусость; напротивъ, кто больше и наглѣе лгалъ передъ начальствомъ, безсовѣстно запирался, путалъ дѣло мастерски, божился и клялся на чёмъ свѣтъ стоитъ, тотъ высоко стоялъ въ глазахъ бурсацкой общинѣ». И посмотрите-же, какую милую и благоустроенную общину представляла эта молодежь, въ часы своихъ учебныхъ рекреаций: «Повисли въ воздухѣ хохотъ, остроты и крѣпкая ругань... Какая-то шельма гречоcheть... десятеро загреготали... двадцать человѣкъ... счету нѣть... Появились лай, мяуканье и кряканье, свистъ и визгъ. Ко всей этой ерундѣ присоединилось голосовъ сорокъ, бурсацкая разноголосица: участвующіе въ ней разбираютъ между собою всѣ тоны, употребляемые въ пѣніи, и всѣ ноты берутъ сразу... Существуетъ-ли на свѣтѣ еще какой-нибудь нелѣпый звукъ, который не отыскался бы въ этой массѣ крика, пѣнья и гудѣнья!»

Заднія скамейки, или парты, носили въ бурсѣ характеристическое название Камчатки. Здѣсь собирались всѣ

личности, известны подъ именемъ «отпѣтыхъ», изъ которыхъ ничего не могли сдѣлать никакія наказанія, никакія розги, считавшіяся основнымъ камнемъ всей бурсацкой педагогики. Тутъ прощеѣтала самая горячая торговля и мѣна, тутъ совершались важнѣйшіе подвиги классаго молодечества, тутъ спрашивались и самыя занимательныя юношескія игры. Во время приготовительныхъ часовъ, въ Камчаткѣ кипѣла своеобразная жизнь. Тутъ одинъ изъ юношей спить на партѣ, а товарищъ, замѣтивъ это, пускаетъ ему въ лицо комокъ жованой бумаги, за что получаетъ тотчасъ-же письменное посланіе съ лаконическимъ извѣщеніемъ: «послѣ занятія я тебѣ спину сломаю». Другой воспитанникъ для потѣхи товарищей корчитъ «рожи на двѣнадцать нумеровъ», третій насасываетъ себѣ до крови руку, четвертый продѣваетъ изъ носу въ ротъ нитку и передергиваетъ ее, и проч.

Игры и забавы этихъ камчатскихъ юношей еще нагляднѣе даютъ понятіе о ихъ нравахъ. Вотъ, напримѣръ, они «ломаютъ прянинки», то-есть двое бурсаковъ, ставъ спинами одинъ къ другому и сдѣлившись руками около локтей, поочередно взваливаютъ себѣ на спину другъ-друга, отчего составляется одна быстро качающаяся фигура. Въ другомъ мѣстѣ «показываютъ Москву» — прикладываютъ ладони къ ушамъ мальчика, сжимаютъ между ними голову и приподнимаютъ на воздухъ. При-этомъ, въ видѣ самыхъ невинныхъ забавъ и шутокъ, задаютъ другъ другу «лупки, швычки, волосянки»... Какія деликатныя игры! А что за типы представляетъ авторъ въ своихъ разсказахъ! Какъ хороши, напримѣръ, этотъ Тавля, который любить загибать своимъ товарищамъ «салазки», то-есть, положивъ ученика на парту лицомъ вверхъ, пригибаетъ ему ноги къ головѣ, что разумѣется очень забавляетъ зрителей. А вотъ Горо-

благодатскій, побѣдивъ другаго бурсака на «кумашкахъ», отпускаетъ ему «горяченькихъ» и съ «пылу-горячихъ», то-есть скручиваетъ и щиплетъ ему кожу на рукахъ до того, что онъ покрываются черными пятнами. Вотъ, наконецъ, Шестиухая-Чабря играетъ съ Омегой въ плевки, то-есть каждый старается выше плюнуть на стѣну, и по томъ побѣдитель задаетъ своему партнеру «верховую, низовую или всеобщую смазь», которая состоить въ томъ, что онъ забираетъ въ горсть лобъ, подбородокъ или все лицо несчастнаго игрока и трясетъ къ-верху и къ-низу... Не правда-ли, что и въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» не много такихъ типовъ, что и тамъ нравы не болѣе лишены человѣчности?

Какъ-же могли развиться подобные нравы въ заведеніяхъ, которые должны быть образцомъ для другихъ, разсадникомъ будущихъ наставниковъ и руководителей для всего общества? Должны-ли мы обвинять въ этомъ повально всю поступающую туда молодежь или вглядѣться внимательно, не зависитъ-ли все это отъ самой организаціи подобныхъ заведеній?

Читая «Очерки» Помяловскаго, вы ясно видите, что при томъ устройствѣ, какимъ отличалась въ его время бурса, отъ нея нельзя было и ожидать ничего другаго. Вместо того, чтобы развивать умы поступающихъ въ нее юношей, открыть имъ истинное значеніе науки, возбудить любовь къ знаніямъ, заставить понимать и уважать ихъ—схоластическое преподаваніе съ его тупымъ буквѣдствомъ, сухая долбня, не допускающая перестановки и одного слова въ учебникахъ, гасили любознательность и въ тѣхъ мальчикахъ, которые приносили ее изъ родной семьи. Вместо того, чтобы мягкимъ обращеніемъ и христіанской еротостью сгладить угловатости молодыхъ школьнниковъ и собственнымъ примѣромъ показать имъ будущее назначе-

ніе, пробудить уваженіе и любовь къ нему, руководители этой молодежи постоянною холодностью, суровостью, беспощадными наказаніями заглушали послѣдніе остатки человѣчности въ молодыхъ сердцахъ. Понятно, что при совершенной оторванности отъ общества, здѣсь и умы должны были съуживаться, и нравы грубѣть и опошляться. Схоластика вела неизбѣжно къ отупѣнію или отрицанію, розги къ униженію или ожесточенію. И все это зависѣло не отъ какихъ-нибудь частностей, а отъ самой организаціи заведеній. «Очерки» Помяловскаго самымъ нагляднымъ образомъ указываютъ на полную несостоятельность порядковъ, какими въ его время отличалось внутреннее устройство бурсы, и следовательно на необходимость ея преобразованія. Что семинаріи не могли быть исправлены удалениемъ какихъ-нибудь камчадаловъ или перемѣнною въ личномъ составѣ начальства и преподавателей, это очевидно: по рассказамъ автора, за лѣноту и дурное поведеніе постоянно выгонялись десятки учениковъ, а въ кругу учителей всегда были порядочные люди, но они не могли уже дѣйствовать благотворно на испорченную массу. Ясно, что бурсы требуютъ преобразованія радикального. Чтобъ эти заведенія могли быть разсадниками будущихъ пастырей народа, способныхъ дѣйствовать на него и живымъ знаніемъ, и чистотою нравовъ, въ нихъ какъ преподаваніе, такъ и воспитаніе должны быть поставлены въ совершенно иное положеніе. Тогда только они перестанутъ быть питомниками невѣжества и грубости, когда наука отбросить здѣсь схоластическую формы, а воспитаніе оживеть подъ вліяніемъ людей образованныхъ и сердечно преданныхъ интересамъ воспитывающейся молодежи. Эта мысль и высказывается косвенно въ сочиненіи Помяловскаго.

Но необходимость преобразованія семинаріи и бурсы

становится еще очевиднѣе и неотразимѣе, когда мы обратимся къ ихъ вліянію на общество, взглянемъ на дѣятельность этихъ молодыхъ людей по выходѣ изъ заведеній. Здѣсь гораздо яснѣе, чѣмъ въ ихъ дѣтскихъ занятіяхъ, играхъ и товарищескихъ отношеніяхъ, обнаруживаются капитальные недостатки ихъ образованія и воспитанія. Мы намѣрены указать на вліяніе бурсы на нашу литературу и журналистику, къ которымъ въ послѣднее время примкнуло не мало дѣятелей изъ духовныхъ училищъ. Нѣть сомнѣнія, что и изъ этихъ заведеній выходило и выходитъ много полезныхъ людей, съ честью заявляющихъ свою дѣятельность въ разныхъ отрасляхъ науки и даже литературы, каковы напримѣрь Надеждины, Павскіе, Неволины и другіе, хорошо известные нашей публикѣ. Примасъучащающагося юношества въ нашихъ духовныхъ школахъ это и не могло быть иначе. Откуда сильная натура и богатыя способности не выносили человѣка? Но мы говоримъ о тѣмъ «семинарскомъ контингентѣ», которымъ пополнялась русская литература и журналистика, особенно въ послѣдніе годы. Книга Помяловскаго, представляя намъ дѣячество этихъ людей, служить естественнымъ ключемъ къ уясненію этой литературной партіи.

Воспитаніемъ этихъ дѣятелей опредѣляется и характеръ ихъ дѣятельности. Понятно, какое воззрѣніе должны былинести въ нашу литературу эти молодые люди, возвращенные на безжизненной методѣ ученья, при беспощадной строгости непрерывныхъ наказаній, посреди самыхъ грубыхъ нравовъ и пошлыхъ развлечений. Сухая сколастика, отсутствіе научной жизни и эстетического развитія, естественно, должны были повести къ одностороннему понижанію науки и къ отрицанію искусства. Мученики грубой формы — они не могли, конечно, ни чувствовать, ни уважать художественныхъ формъ. Напитанные отвлеченности-

ми — они, по неизбежному закону реакции, должны были броситься въ крайній реализмъ. Бурса такимъ-образомъ, по самому устройству своему, сдѣлалась разсѣдникомъ отрицанія, которое многихъ такъ тревожитъ въ настоящее время. Но это явленіе вполнѣ естественное. Всмотритесь въ другія европейскія литературы — вы увидите, что такое же явленіе возникало вездѣ, при переходѣ отъ сколастики къ жизни, какъ скоро сколастика не дѣлала свое времененныхъ уступокъ жизни. У насъ должно было проявиться это въ семинаріяхъ, удержавшихъ средневѣковыя формы въ то время, когда другія учебныя заведенія обновлялись постепенно, подъ вліяніемъ жизни и духа времени. Тутъ были всѣ необходимые элементы и для крайняго нигилизма, и для грубаго отрицанія искусства. Тяжелый гнетъ сколастики приводилъ естественнымъ образомъ къ уклоненію отъ всякой системы, а грубые бурсацкіе «свычай и обычай» заглушали всякое поэтическое чувство, всякую возможность понимать изящное. Здравую-ли науку могли выносить юноши изъ того педантического тумана, въ которомъ они не видали ни одного луча живой истины? Художникамъ-ли было образоваться въ этомъ грубомъ мірѣ, гдѣ ничего не давалось для развитія эстетического чувства? И въ-самомъ-дѣлѣ, изъ всего этого контингента не вышло въ послѣднее время ни одного поэта, ни одного романтика, ни одного писателя съ эстетически развитымъ вкускомъ. Никто, конечно, не отнесетъ къ сферѣ искусства тотъ знаменитый псевдо-романъ, гдѣ всѣ лица и положенія сочинены для разрѣшенія заранѣе составленныхъ теорій жизни. Ни кто не заподозритъ въ художественномъ значеніи и тѣхъ издѣлій мнимой беллетристики, какія теперь появляются на нѣкоторыхъ журнальныхъ партахъ, подъ этикетками романовъ и повѣстей. Это не что иное, какъ

произведеніе схоластики и незнанія дѣйствительной жизни.

И такое явленіе въ нашей литературѣ даже не ново. Помните-ли вы ту писательскую школу, которая еще въ до-петровскія времена образовалась въ киевскихъ и виленскихъ духовныхъ училищахъ и въ московской Славяно-греко-латинской академії? Изъ нея вышла на поприще сочинительства цѣлая фаланга псевдо-поэтовъ, въ родѣ Симеоновъ Полоцкихъ, Лазарей Бараповичей, Сильвестровъ Медвѣдевыхъ, которые видѣли поэзію въ однихъ тяжелыхъ силлабическихъ виршахъ. Не то-ли мы находимъ и теперь въ нашей беллетристикѣ? Новые Лазари и Сильвестры упражняются въ сочиненіи романовъ и повѣстей и вовсе не подозрѣваютъ, что это только формы повѣсти и романа, а на самомъ дѣлѣ въ этихъ прозаическихъ виршахъ столько-же поэзіи, сколько въ «поэматахъ» и «акrostикахъ» нашихъ стихослагателей XVII вѣка. У тѣхъ и другихъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда творчества. И конечно, наша бурсацкая школа зайдетъ въ литературу такое-же мѣсто, какъ и школа до-петровскихъ риторовъ: тѣ и другіе выросли одинаково на чужомъ вліяніи, не поняли окружющей ихъ дѣйствительности, и въ глупи своихъ келій и кабинетовъ не видали настоящей народной жизни. Разумѣется, наши современные схоластики, какъ и старые риторы, считаютъ себя людьми передовыми, просвѣтителями народа, а свои письменныя издѣлія свѣтлою «литературою будущаго». Но на самомъ дѣлѣ эту литературу ждетъ та-же самая будущность, какая постигла школьныя произведенія схоластиковъ XVII столѣтія. Живая народная литература обойдетъ и забудетъ эти софистическая и безвкусная издѣлія, какъ забыла она вирши Симеоновъ Полоцкихъ и Лазарей Бараповичей.

Но виноваты-ли эти люди, что ихъ литературные труды такъ грубы и бесплодны? Никто не будетъ отрицать, что

между ними много дѣятелей трудолюбивыхъ, честныхъ и любознательныхъ, одушевленныхъ преданностью дѣлу и желаніемъ общественной пользы. Основною причиною ихъ бесплодного труда служить только ихъ воспитаніе. Освобождалась изъ-подъ сколастической ферулы, не вынося изъ школы ни одного теплого слова участія, битые за то, что старались понять смыслъ того, чему ихъ учили,—они, естественно, выносили ненависть ко всѣмъ существующимъ порядкамъ, и мстили за свое прошлое реализмомъ и отрицаніемъ. Обращаясь къ литературнымъ занятіямъ, они переносили сюда свои бурсацкіе нравы, свой школьній цинизмъ. Если подобное направление обнаруживается въ свѣтскихъ заведеніяхъ, прививается къ молодежи другихъ сословій и выражается въ статьяхъ писателей, не воспитанныхъ въ бурсахъ, то все-же починъ этого нигилизма и грубости принадлежитъ духовнымъ училищамъ. Молодые воспитанники ихъ, поступая въ университеты, переносятъ туда свою ненависть къ искусству, свое повальное отрицаніе, и впослѣдствіи приобрѣтаютъ новыхъ adeptовъ. Недавно еще одинъ изъ нашихъ молодыхъ литераторовъ печатно заявлялъ, что онъ обязанъ своимъ прозрѣніемъ, то-есть усвоеніемъ реального взглода и отрицаніемъ искусства, одному изъ бывшихъ воспитанниковъ бурсы... И вліяніе этихъ людей понятно. Страхивая съ себя по выходѣ изъ бурсы все, кроме ненависти къ ней, они должны конечно обладать значительной энергию въ своемъ отрицаніи, и эта-то энергія приобрѣтаетъ имъ послѣдователей въ кругу молодежи. Все это—естественное послѣдствіе самой организаціи бурсы.

Посмотрите-же, какіе нравы внесли эти люди въ нашу литературу, какую камчатку открыли они въ средѣ нашей журналистики, какую партію сформировали изъ своихъ бурсацкихъ партъ. Все, что видимъ мы грубаго въ поня-

тіяхъ и бытѣ, который такъ вѣрно представленъ въ «Очеркахъ» Помяловскаго, люди эти перенесли цѣликомъ на страницы нашихъ журналовъ, и разумѣется на столько рѣзче, на сколько должны были возмужать эти юноши по выходѣ изъ школы на широкое поле общественной дѣятельности. Прежняя бурсацкая долбня и механическое заучиванье учебниковъ сохранились во всей прелести, въ примѣненіи къ новой, добровольной долбѣ иностранныхъ доктринъ, съ тѣмъ же рабскимъ подчиненіемъ этимъ новымъ учителямъ. Какъ на школьныхъ скамьяхъ зазубривали они въ своихъ тетрадяхъ: «стыдъ и срамъ... постигли... стигли, стигли»—такъ и теперь принялись долбить, по той же методѣ и съ тою же настойчивостью, Бокля, Прудона, Молешотта, не заботясь о томъ, на сколько взгляды этихъ писателей примѣняются къ нашей дѣйствительности. Во всѣхъ ихъ разсужденіяхъ о новыхъ европейскихъ системахъ видна та-же сколастика, то-же незнакомство съ жизнью, какъ и въ бурсацкой долбѣ, описанной Помяловскимъ. Пѣсни о блаженствѣ народовъ «незнающихъ наукъ» переложились на страницахъ журналовъ въ новое пѣніе о томъ, какъ будутъ блаженны народы, не знающіе искусства и поэзіи—этихъ погремушекъ, забавляющихъ неразвитое общество. Типы Помяловскаго прямо перенесли въ журналистику, но только еще болѣе возмужали и окрѣпли. Это тѣ-же Тавли, Гороблагодатскіе и Шестиухіе-Чабри, которые перенесли свою дѣятельность съ парты бурсацкой камчатки въ редакціи литературныхъ журналовъ.

Мы не хотѣли-бы касаться грязныхъ страницъ, какими отличалась наша литература въ послѣдніе годы, но приуждены напомнить о нихъ, чтобы насть не обвинили въ голословныхъ отзывахъ.

Кто не помнить, что дѣлалось недавно на журнальныхъ партахъ нашего литературно-семинарскаго контин-

гента? Лупки, швычки и волосянки живьемъ перенеслись изъ бурсы въ критику и полемику и вызвали то печальное явленіе, что публика начала отворачиваться отъ журналовъ и считать неприличнымъ подписываться на нихъ. И что значитъ школьный волосянки и смази передъ тѣми лупками и смазями, какими осыпали другъ-друга эти витязи! Въ журналахъ появились объемистыи статьи, въ двадцать и въ тридцать страницъ, не съ цѣлью разъясненія какого-нибудь литературнаго или общественнаго вопроса, а изъ-за того только, чтобы рѣшить, кто лучше другаго обругаетъ, точно такъ-же какъ Омега и Чабря забавлялись — кто выше плюнетъ на класную стѣну. Верхнія и нижнія смази и загибанье другъ-другу салазокъ принадли грандиозные размѣры. Вся «чорная и бѣлая грязь», по выражению одного изъ этихъ состязателей, перешла въ литературу; все, что въ бурсацкихъ замашкахъ было грубаго и отталкивающаго, высказалось въ этой полемикѣ. Одна литературная партя называла своихъ однокашниковъ «вислоухими», другая, въ свою очередь, величала ихъ «прихвостниками». Одинъ изъ противниковъ (положимъ хоть А) упрекаль другаго за то, что онъ спалъ въ какой-то графской передней; а этотъ другой (назовемъ его хоть Б), съ своей стороны, обзвывалъ его хавроньей, раскапывающей его статьи (забывая, что говорить о своихъ-же сочиненіяхъ). Недовольный такой любезностью, А. грозитъ посадить Б. на ладонь и показать зачѣмъ-то публикѣ, а Б. совѣтоваль А. спрятаться въ сапогъ и не показывать никуда «бестыжихъ глазъ»... Ну, не лучше-ли это всѣхъ бурсацкихъ волосянокъ, нетолько горяченъкихъ, но и съ пылу-горячихъ? Самъ Тавля не загибалъ такъ энергически салазокъ своимъ однопартнкамъ! Было и еще лучше. Когда кто-то затѣялъ споръ и «поднялъ вопросъ» о томъ, почему

Тургеневъ и Л. Толстой отказались отъ постояннаго сотрудничества въ одномъ литературномъ журналѣ, камчатка по-спѣшила заявить, что этотъ отказъ былъ недобровольный, и что лучшіе наши современные писатели были будто-бы изгнаны самою редакціею за свою «отсталость». Это ужъ такая «вселенская смазь» на которую не рѣшился-бы можетъ-быть и Шестиухая-Чабря!

Вотъ эти-то подвиги литературной камчатки, гораздо яснѣе и нагляднѣе, чѣмъ бурсацкая камчатка, говорять о необходимости реформы въ нашихъ семинарияхъ. Эти живые типы новыхъ критиковъ и публицистовъ, больше чѣмъ Омеги, Тавли и Гороблагодатскіе, заставили думать о необходимости смягченія бурсацкихъ нравовъ не какимъ-нибудь стѣсненіемъ, а радикальнымъ преобразованіемъ тѣхъ заведеній, где образуются подобные типы. Строго винить теперь этихъ людей было-бы не совсѣмъ справедливо. Кто цѣлые годы загибалъ салазки школьнѣмъ товарищамъ, для того загибанье салазокъ сдѣлалось потребностью и въ общественной дѣятельности. Гораздо меньше снисхожденія заслуживаютъ тѣ господа, которые со стороны примыкаютъ къ этой партѣ: эти неофиты часто превосходятъ своихъ наставниковъ. Одинъ изъ такихъ вольно-переходящихъ на бурсацкую парту адептовъ очень серьезно и съ ловкостью достойно лучшаго дѣла проповѣдывалъ, что Пушкинъ не поэтъ, а только искусный слагатель стиховъ на темы волокитства и попоекъ; а другой господинъ съ неменьшей энергией доказывалъ, что изящныя искусства—живопись, музыка, поэзія—выражаютъ только неразвитость общества и должны уничтожиться съ большою зрѣлостью человѣчества... И это говорить люди не глупые, но только поврежденные вліяніемъ литературной парты Гороблагодатскихъ и Чабрей, у которыхъ всего больше развито искусство задавать съ «пылу-горячихъ» кому

ни попало. Сперва загибали они салазки Тургеневу—а тамъ стали задавать смази Пушкину, Рафаэлю, Маколею, живописи, поэзіи... всему искусству...

Мы рѣшились высказать все это не потому, чтобъ у насъ были какія-нибудь личные неудовольствія на литературную камчатку: мы никогда не имѣли съ нею ничего общаго и не участвовали въ ея полемическихъ играхъ въ камушки и смази; а говоримъ единственно для объясненія настоящаго значенія этой литературной парты. Намъ искренно жаль ее, потому-что мы видимъ въ ней людей съ дарованіемъ, которые могли бы быть полезными обществу своей дѣятельностью, а между - тѣмъ тратятъ ее самымъ бесплоднымъ и жалкимъ образомъ, именно въ то время, когда наше общество нуждается въ полезныхъ дѣятеляхъ. Грустно особенно то, что двѣ-три даровитыя личности изъ этой партіи вызвали къ такому бесплодному труду десятки бездарностей, которые никуда не годны въ литературѣ, но могли бы быть полезными на какомъ-нибудь другомъ поприщѣ. Мало-ли занятій, гдѣ вовсе не требуется эстетического развитія! Въ литературѣ дѣло другое: тутъ безъ этого развитія можно писать только ругательства или какія-нибудь подобія «Телемахиды». Это и показали намъ произведенія бурсацкой партіи: отсутствіе вкуса и литературного такта—отличительные черты всѣхъ ея представителей.

Спрашивается: какое-же вліяніе имѣть на публику эта литературная парта?

Мы не вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что наша реалистическая партія вредна своимъ ученіемъ для всего общества, и толкуютъ о необходимости какихъ-то репресивныхъ мѣръ. Напротивъ, пускай она договаривается свободно до послѣднихъ выводовъ—тогда-то и обнаружится вся ея пустота, а слѣдова-

тельно и безвредность. Тревожиться тутъ не изъ-чего. Возможно-ли думать серьезно, чтобъ обществу могла грозить опасность со стороны людей, которые до - сихъ - поръ только утирировали чужія теоріи, не примѣнимыя къ нашей жизни, да вели полемику, основанную на пошлыхъ личностяхъ? Мы видѣли, чёмъ кончились мечтанія ихъ образцовъ, Сен-Симоновъ, Кабэ, Робертъ-Оуновъ, которымъ такъ грубо, такъ безсмысленно подражаютъ наши теоретики. Въ обществѣ много здраваго смысла, и оно не можетъ долго увлекаться подобными иллюзіями, если даже онѣ выражаются и не въ такой топорной формѣ, и вызываются не однимъ кабинетнымъ задоромъ. Мы увѣрены, что если устранить воопіющіе недостатки нашего воспитанія, то черезъ нѣсколько лѣтъ эта реторическая школа будетъ на столько-же дикою въ глазахъ ея нынѣшнихъ послѣдователей, на сколько она теперь кажется дикою людямъ, не принадлежащимъ къ ея толку. Говорить серьезно о неминуемой опасности, угрожающей всему обществу отъ этой журнальной партии, значить слишкомъ мало уважать общество. Дурное вліяніе бурсацкой партіи идетъ совсѣмъ не чрезъ литературу...

Искусству такъ-же мало грозить опасность отъ нападеній этихъ риторовъ, какъ и поэтическому значенію Пушкина. Тому и другому отъ этихъ бурсацкихъ выходокъ, какъ говорится, ни тепло, ни холодно. Еслибъ въ Англіи или Германіи кто-нибудь вздумалъ говорить, что Байронъ пошлый пѣвецъ того пошлого общества, которое могло интересоваться любовными подвигами какого-нибудь Дон-Жуана, а дрезденская галерея и Лувръ существуютъ только для удовлетворенія праздного любопытства пошлыхъ туристовъ,— тамъ расхохотались бы надъ такими кунштиками или сочли этихъ господъ за пациентовъ Бэдлама. У насъ же, благодаря низкому уровню образованія, подобныхъ вы-

ходки находять послѣдователей. И въ этомъ нѣтъ большой бѣды: что само по себѣ жизненно, то не падетъ отъ нападокъ фальшивой школы. Вѣдь Полоцкіе и Медвѣдевы были глубоко убѣждены въ безполезности нашей народной литературы, считали ее никуда негодною пошлостью и ставили неизмѣримо ниже своихъ «виршей» и «комидій»; а эти пошлые и гонимыя сказки и пѣсни послужили впослѣдствіи къ очищенію обезображенной сколастиками литературы. Точно тоже и теперь. Искусство и чистый его представитель, Пушкинъ, останутся вѣчно неизмѣримыми и въ свою очередь послужатъ для отрезвленія этихъ новѣйшихъ риторовъ, для очищенія ихъ отъ грубаго нароста бурсы. Всѣ эти выходки противъ искусства, нахватанныя изъ книги Прудона «*Du principe dans l'art*» и обращенные, по системѣ бурсацкаго долбленія, на уничтоженіе искусства и «развѣнчаніе» Пушкина, носятъ въ самихъ себѣ элементы неизбѣжной смерти...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы наша бурсацкая партія была совсѣмъ безвредна. Напротивъ: эти толки о безполезности искусства, эти постоянныя выходки нигилизма дѣйствуютъ на недоучившуюся часть молодаго поколѣнія. Эти полемическія игры отвлекаютъ цѣлые десятки молодыхъ людей отъ полезной дѣятельности, губятъ напрасно свѣжія силы, парализуютъ правильный ходъ литературы, ослабляютъ ея вліяніе въ то время, когда она могла бы быть особенно полезною, и наконецъ унижаютъ значеніе критики, которая много содѣйствовала развитію общества. Въ этомъ-то отношеніи очевиднѣй вредъ литературной партіи, которой зародышъ такъ живо представилъ памъ одинъ изъ даровитыхъ ея представителей, въ своихъ «*Очеркахъ Бурсы*». Конечно, и этотъ вредъ временный, но въ настоящее время онъ слишкомъ замѣтенъ въ обществѣ...

Такимъ - образомъ литературная дѣятельность нашей

бурсацкой школы показываетъ гораздо нагляднѣе, чѣмъ «Очерки» Помяловскаго, какъ необходимо было обратить вниманіе на состояніе нашихъ духовныхъ училищъ. Вліяніе укоренившейся тамъ схоластики и грубыхъ нравовъ не оканчивается въ стѣнахъ бурсы, но остается въ молодыхъ людяхъ далеко за ея порогомъ, не всегда даже уступаетъ вліянію университетовъ и переходитъ въ дальнѣйшую общественную дѣятельность — что мы и показали, коснувшись участія ея питомцевъ въ литературѣ и журналистикѣ. Если же эта печать не стирается тамъ, гдѣ бываетъ постоянный обмѣнъ идей, безпрерывное столкновеніе съ жизнью, то можно-ли требовать, чтобы она сгладилась при другихъ положеніяхъ, на другихъ поприщахъ, не столько для того благопріятныхъ? Не пора-ли намъ поэтому обратить серьезное вниманіе на состояніе нашихъ духовныхъ училищъ, откуда выходитъ такое значительное число молодежи и въ среду духовенства, и въ университеты, и въ гражданскую службу? Не пора-ли подумать о томъ, какъ поставить эти школы въ такія условія, при которыхъ не возможны были-бы явленія, подобныя тѣмъ, какія совершаются въ нашей литературѣ? Въ возможности этого нельзя сомнѣваться, какъ и въ необходимости. Мы не думали, конечно, разбирать въ этой статьѣ, въ чемъ именно должно состоять перерожденіе бурсы и духовныхъ школъ, а хотѣли только показать, что необходимость реформы стала очевидно для всякаго, кто всматривался въ литературную дѣятельность воспитанниковъ этихъ школъ. Она лучше всякихъ книгъ и разсужденій указываетъ на необходимость реформы, которая должна имѣть большое вліяніе не только на измѣненіе быта одного сословія, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ на улучшеніе нравовъ во всей народной массѣ.

## РОДИНА СКЕПТИЦИЗМА.

(По поводу книги „Библія и Наука“)

У насъ распространена мысль, что французская литература въ религиозномъ отношеніи имѣла вредное вліяніе на наше общество, тогда какъ литература нѣмецкая не только никогда не колебала никакихъ вѣрованій, а напротивъ, служила къ утвержденію всякаго рода нравственныхъ началъ. Во французскихъ писателяхъ у насъ привыкли отыскивать однѣ разрушительныя тенденціи, а нѣмецкія книги считать въ этомъ смыслѣ не только невинными, но чуть не каноническими. Такое мнѣніе сложилось съ давняго времени и до сихъ-поръ принимается многими за несомнѣнную истину. Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ, и не пора-ли провѣрить, которая изъ двухъ литературъ, французская или нѣмецкая, внесла менѣе скептицизма и отрицанія въ нашу литературу и общество? Не время-ли наконецъ взглянуть на этотъ вопросъ не глазами людей, съ чужаго голоса опирающихся на имена Вольтеровъ и Ренановъ? Предметъ этотъ такъ серъезенъ, что мы конеч-

но не разсчитываемъ исчерпать его вполнѣ, а хотимъ только обратить на него вниманіе и показать необходимость его разъясненія.

Никто не будетъ отрицать, что французская литература прошлого вѣка отличалась направленіемъ, враждебнымъ не только уставамъ церкви, іерархіи и ритуалу, но и многимъ изъ ея существенныхъ догматовъ. Но во-первыхъ, не слѣдуетъ забывать, что направление это вызвано было во Франції тѣми вопіющими злоупотребленіями римского двора и антихристіанскими дѣйствіями католического духовенства, которые неизбѣжно порождали противодѣйствіе и заставили народъ пылкій и увлекающейся броситься въ крайности и излишества. Во-вторыхъ известно, что многія изъ радикальныхъ идей, обращавшихся тогда во французской литературѣ, были только развитіемъ понятій, унаслѣдованныхъ Германіею отъ эпохи реформаціи и выражавшихся, хотя можетъ-быть не съ такой ясностью, въ нѣмецкой наукѣ и литературѣ. Большинство энциклопедистовъ только популяризовали лютеранско-нѣмецкій скептицизмъ, какъ впослѣдствіи Кузенъ обобщалъ идеи Гегеля, какъ Вильменъ опирался на методъ Шлегеля. Едва-ли кто ошибется, говоря, что вся французская философія была только популяризацией философскихъ идей англичанъ и еще болѣе нѣмцевъ. Пора, наконецъ, смотрѣть правильнѣе и на Вольтера. Безспорно, въ сочиненіяхъ его разсказано много религіозного кощунства; но можно-ли считать его атеистомъ? можно-ли даже назвать не христіаниномъ? Былъ-ли атеистомъ тотъ, кто въ своемъ Ферней построилъ храмъ и написалъ надъ его дверями: *Deo egressit Voltaire?* Ужели это, какъ иные увѣряютъ, только притворство и маска передъ свѣтомъ? Но передъ кѣмъ-же ему было притворяться въ Женевѣ, этомъ пріютѣ всякихъ вѣрованій и

сомнѣній? И зачѣмъ было надѣвать іезуитскую маску тому, кто былъ врагомъ всякой маскировки и іезуитства? Могно-  
ли назвать нехристіаниномъ человѣка, который всегда боролся съ насилиемъ и фанатизмомъ, стоялъ за человѣческія  
права, свободу и христіанскую любовь? Какъ обвинять въ  
антихристіанствѣ того, кто могучей силою своего неутоми-  
маго смѣха погасилъ костры инквизиціи, помогъ уничто-  
женію пытки, кто всегда стоялъ на сторонѣ притѣсняемыхъ  
и гонимыхъ? Если разрушительная насмѣшка Вольтера,  
подрывая злоупотребленія католической церкви, задѣвала  
иногда и предметы священные, то ни въ какомъ слу-  
чаѣ Вольтеръ не обращался на самыя идеи христіанства,  
а напротивъ, очищалъ ихъ отъ вѣковыхъ искаженій со  
стороны папства, инквизиціи и іезуитовъ. Скорѣе слѣдуетъ  
обратить упрекъ въ антихристіанствѣ на ученика Вольтера,  
Фридриха II, который, подражая въ кощунствѣ своему  
учителю, не раздѣлялъ нисколько его гуманнаго духа и  
едва-ли вѣрилъ во что-нибудь, кроме величія своего абсолютизма и могущества дисциплины. Наконецъ все, въ чемъ  
укоряютъ Вольтера, съ большимъ основаніемъ не должно  
миновать Гейне, который не только смѣялся надъ католи-  
ческою и лютеранскою церковью, но нерѣдко обращалъ  
свою насмѣшку и на идеи, тѣсно связанныя съ сущностью  
самого христіанства. Не говоримъ уже, что Вольтеръ, при  
всемъ своемъ космополитизмѣ, оставался всегда французомъ,  
горячо любящимъ свою страну, а Гейне смѣялся даже надъ  
любовью къ отечеству. Вообще не должно забывать, что  
идеи, которыя въ концѣ прошлаго вѣка привели францу-  
зовъ къ отпаденію отъ церкви и служенію богинѣ разума,  
скоро исчезли почти безследно, и Франція черезъ нѣсколько  
лѣтъ читала уже Ламартиновъ и Шатобріановъ; между-  
тѣмъ какъ въ Германіи идеи эти не переставали жить и

на университетскихъ кафедрахъ, и въ ученыхъ сочиненіяхъ. Обвиненіе французской литературы въ антирелигиозномъ направленіи усилилось въ послѣднее время по случаю появленія известнаго сочиненія Ренана «Vie de Jésus». Но кто знакомъ хотя поверхностно съ нѣмеckими анализаторами Библии и Евангелія, тотъ конечно согласится, что Ренанъ былъ только послѣдователемъ Штраусовъ, Эйхтей, Рейссовъ и другихъ ученыхъ нѣмцевъ, которые гораздо раньше его и съ большей эрудиціей и смѣлостью занимались этимъ предметомъ. Еслибы мы захотѣли сравнить сочиненія Ренана и Штрауса, то не трудно было бы доказать, что идеи послѣднаго отличаются несравненно большимъ радикализмомъ и отрицаніемъ. Если-же ученаго нѣмца читаютъ меныше, чѣмъ его французского послѣдователя, то это оттого, что одинъ относится къ своему предмету со всѣми тяжелыми пріемами безстрастнаго критика, а другой невольно привлекаетъ художественной красотою картинъ и образовъ и изяществомъ литературной формы. Что-же касается сущности самаго вопроса, то Ренанъ не сказалъ ничего новаго. Вообще едва-ли подлѣжить сомнѣнію, что антирелигиозныя идеи французовъ возникли больше всего либо отъ присущаго имъ легкомыслія и духа насмѣшки, либо отъ противодѣйствія безумнымъ увлечениямъ католического духовенства, породившаго инквизицію и іезуитовъ и неперестающаго измышлять нелѣпые догматы въ родѣ иммакулациіи и папской непогрѣшимости; между-тѣмъ какъ скептицизмъ и отрицаніе нѣмцевъ проистекаютъ изъ самой сущности лютеранства, навсегда отрѣшившагося отъ многихъ преданій первобытной церкви и по духу своему не только не противодѣйствующаго, но поощряющаго къ анализу и сомнѣнію. Вотъ почему нѣмцы внесли въ науку и литературу гораздо больше скептицизма, чѣмъ французы.

Вліяніе нѣмецкихъ идей на наше общество началось безъ сомнѣнія раньше, нежели вліяніе французской литературы. Хотя происки іезуитовъ обнаружились въ Россіи еще съ XVI вѣка, но они шли сколько извѣстно не изъ Франціи, а непосредственно изъ Рима; между-тѣмъ какъ со временеми Петра I лютеранско-нѣмецкія понятія, при посредствѣ московской Нѣмецкой-Слободы и наплывѣ нѣмцевъ изъ Ливоніи и Германіи, начали проникать не только въ высшія сферы русскаго общества, но даже и въ самое наше духовенство. Доказательствомъ этому служить между-прочимъ книга Стефана Яворскаго «Камень Вѣры», главною задачею которой было огражденіе православной церкви отъ вліянія лютеранскихъ идей, замѣтно проявлявшихся въ поученіяхъ и сочиненіяхъ нѣкоторыхъ русскихъ духовныхъ лицъ.

Несмотря на то, что у насъ существуетъ довольно обширная литература по части русскаго раскола, одна сторона этого предмета остается до-сихъ-поръ не достаточно разъясненою, именно вопросъ о томъ, какое вліяніе имѣли на распространеніе и укорененіе нашихъ раскольническихъ сектъ нѣмцы-лютеране. Не касаясь до-петровскаго времени, когда русскій расколъ ограничивался почти однимъ противодѣйствиемъ никоновской церковной реформѣ и не имѣль ни того крайняго упорства, ни тѣхъ идей, какія обнаружились въ немъ впослѣдствіи, укажемъ на болѣе позднѣйшую эпоху. Несомнѣнно, что самыя радикальныя ученія въ еретическомъ смыслѣ начали возникать у насъ только со временеми Петра, Великаго, и можно болѣе чѣмъ подозрѣвать участіе въ этомъ лютеранства. Въ нѣкоторыхъ раскольническихъ сектахъ видны до-того ясные слѣды этого вліянія, что ихъ замѣтили даже иностранцы. Одинъ изъ самыхъ добросовѣстныхъ писателей о русскомъ расколѣ, баронъ Гакстгаузенъ, подметилъ съ первого взгляда, что

въ ученіи нашихъ молоканъ и духоборцевъ видна несомнѣнная примѣсь идей, заимствованныхъ съ Запада, и именно изъ ученія лютеранскаго. И на сколько мы знаемъ основныя начала этихъ сектъ, дѣйствительно, нельзя сомнѣваться, что существовавшія до Петра еретическія понятія ожили и укрѣпились въ этихъ сектахъ подъ вліяніемъ нѣмецкихъ религіозныхъ идей. Есть основаніе полагать, что къ укрѣплению ихъ послужила близость поселенныхъ по сосѣдству съ сектантами колоній нѣмецкихъ менонитовъ. Чтобы видѣть, откуда и какимъ путемъ вѣяло на этихъ раскольниковъ, достаточно вспомнить, что тотъ-же баронъ Гакстгаузенъ, во время поѣздки своей въ южную Россію, нашелъ у молоканъ переводъ сочиненій Юнга Штилинга. Намъ самимъ случилось встрѣтиться въ Москвѣ съ раскольникомъ, который былъ знакомъ съ книгою Эккартгаузена, хотя и толковалъ по своему ея мистическія положенія. Припомнимъ еще, что въ сороковыхъ годахъ, подъ самою столицею, недалеко отъ Петергофа, открыта была нелѣпая секта, въ которой главною участницею оказалась дочь пастора одной изъ стolичныхъ нѣмецкихъ церквей, Аврора \*\*\*, и въ сбирающихъ этихъ сектантовъ участвовали какъ нѣмцы, такъ и русскіе. Не надобно еще забывать, что нѣкоторыя изъ нашихъ раскольничихъ сектъ замѣтно подновлялись и оживали послѣ того, какъ въ средѣ ихъ явились солдаты, возвращавшіеся изъ походовъ въ Германію въ семилѣтнюю войну и позднѣе: они, даже и при незнаніи нѣмецкаго языка, выносили понятія не только о вѣшней сторонѣ лютеранской церкви, но даже о самомъ ея ученії, конечно въ неточномъ и искаженномъ видѣ. Это такъ-же несомнѣнно, какъ вліяніе нѣмецкихъ тайныхъ бундовъ на нашихъ офицеровъ во время походовъ 1813 и 1814 годовъ.

Обращаясь къ нашему образованному обществу, мы и

тутъ видимъ, что распространенію скептическихъ идей способствовала не столько французская, сколько нѣмецкая литература. Правда, во второй половинѣ прошедшаго и въ началѣ нынѣшняго вѣка у насъ читали больше французскихъ писателей; но, какъ мы уже сказали, они сами вдохновлялись въ этомъ отношеніи идеями, заимствованными изъ Германіи. Что касается позднѣйшаго времени, то здѣсь антирелигіозная понятія, очевидно, уже почерпались и почерпаются изъ философіи и науки нѣмецкой. Мы не имѣемъ возможности опредѣлить въ небольшой статьѣ, какого рода идеи почерпались нами у Канта и Фихте, но не можетъ не указать на наше время. Какіе французскіе материалисты, спросимъ мы, дѣйствовали на умы нашей современной молодежи такъ разрушительно, какъ Фейербахи, Бюхнеры и подобные имъ нѣмецкіе учены? Откуда пришли тѣ идеи о жизни и человѣкѣ, которые вскружили головы нашимъ молодымъ людямъ и погубили столько свѣжихъ силъ, какъ не изъ лекцій и книгъ этихъ многоученыхъ нѣмцевъ? Не у Бюхнеровъ-ли и Молешотовъ заимствованы курьезныя понятія о томъ, что человѣкъ есть только одна изъ формъ дѣйствующей природы, отличающаяся отъ животныхъ однимъ высшимъ развитиемъ; что мысль — не что иное, какъ механическое послѣдствіе организма; что единственная цѣль нашей жизни — наслажденіе; что у женщины мозга меныше, чѣмъ у мужчины и следовательно она обречена на низшее существованіе; что негръ отъ природы ниже бѣлого и оттого черная раса осуждена на вѣчное рабство, и проч. Достаточно вспомнить, что знаменитый Карль Фохтъ, в продолженіи двухъ мѣсяцѣвъ, доказывалъ съ университетской каѳедры, что человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, и эту великую истину усвоили многія сотни нашихъ обезьянъ ли-

берализма. Всёмъ этимъ мы обязаны нѣмцамъ, и конечно наше общество не могло почерпнуть ничего подобнаго ни у Буливо, ни у Флурана, ни у Дюбуа-Ремона, трудившихся надъ тѣми-же научными задачами. Чѣдѣ значать всѣ эти вѣтрены французы передъ солидными пѣвицами, проповѣдующими отсутствіе въ человѣкѣ души, порабощеніе женщины и вѣчное рабство чернокожихъ! По нашему крайнему разумѣнію, ни скептическій смѣхъ и кощунство Вольтера, ни вся анти-государственная и противо-церковная дѣятельность энциклопедистовъ, ни фривольная разнузданность романовъ Дюма-сына, ни блестящіе страницы книги Ренана не внесли въ русское общество такихъ нелѣнныхъ понятій, какія заимствованы нами прямо или косвенно изъ нѣмецкой науки и нѣмецкой литературы...

Но можетъ-быть спросить: отчего тѣ-же самыя понятія не породили разрушительныхъ началъ въ самомъ германскомъ обществѣ, которое, повидимому, не только не обнаруживаетъ признаковъ нравственнаго разложенія, а напротивъ, отличается прочностью и крѣпостью своихъ основъ. Не входя въ анализъ этихъ нравственныхъ началъ германского общества, мы замѣтимъ только, что у нѣмцевъ наука и литература далеко не имѣютъ той тѣсной и непосредственной связи съ жизнью, какъ у другихъ народовъ. Теорія и практика въ глазахъ нѣмца — во многихъ отношеніяхъ двѣ вещи совершенно различные. Нигдѣ образованность не уживается такъ дружно съ самою невѣжественной грубостью, какъ въ Германии. Въ нѣмецкой арміи, напримѣръ, много людей, не только учившихся въ школахъ, но и знакомыхъ съ университетскими лекціями, а между тѣмъ нѣтъ на свѣтѣ войска болѣе грубаго, нѣтъ нигдѣ болѣе суровой дисциплины и болѣе высокомѣрнаго и негуманнаго обращенія. Намъ самимъ случалось видѣть,

какъ въ Дрезденѣ, во время строеваго ученья на дворѣ казармы, старшій солдатъ билъ молодыхъ рекрутъ длинной палкою по ногамъ за каждый невѣрный шагъ. Не говоримъ уже о прусскомъ «военномъ духѣ»... Во время франко-германской войны кореспондентъ одного изъ англійскихъ журналовъ, восхищаясь нѣмецкими солдатами, замѣтилъ, что всѣ они грамотные и даже многіе знаютъ на память стихи Шиллера; а черезъ нѣсколько дней другой англійскій кореспондентъ сообщилъ разсказъ, какъ въ Базейль эти почитатели Шиллера добивали штыками больныхъ на постеляхъ и кидали младенцевъ въ пламень подожженныхъ домовъ... Не говоримъ уже о томъ, какъ превозносящіеся своей образованностью нѣкоторые изъ бароновъ Прибалтійского-края дѣйствуютъ въ отношеніи своихъ эстлатышскихъ поселянъ. Все это доказываетъ, что наука и религія далеко не имѣла такого смягчающаго вліянія на тевтонскую расу, какъ это многіе думаютъ и утверждаютъ.

Перейдемъ отъ общаго къ частному. Немного можно указать вопросовъ въ новѣйшей литературѣ, которые обращали-бы на себя такое настойчивое вниманіе ученыхъ, какъ вопросъ объ отношеніи современной науки къ Библіи. Великія открытія въ области естествознанія, проникая въ неразгаданныя, до-тѣхъ-поръ тайны отдаленныхъ вѣковъ и первобытнаго человѣка, бросили сначала сомнѣніе въ правдивость многихъ библейскихъ сказаній. Іезуиты и протестантскіе туристы подняли при этомъ, по обыкновенію, крикъ противъ науки; но скоро ученые успѣли показать, что наука не только не колеблетъ сказаній Моисея, а напротивъ, съ каждымъ новымъ открытиемъ положительно подтверждаетъ ихъ истину. И кто-же изъ трудившихся надъ вопросомъ объ отношеніи Библіи къ наукѣ подерѣпилъ наиболѣе истину древняго писанія? Къ сожалѣнію, въ предѣ-

лахъ краткой статьи мы не имѣемъ возможности разобрать сколько-нибудь подробно этотъ вопросъ и должны ограничиться однимъ указаниемъ на него. Извѣстно, что основатель новѣйшей геологии, Кювье, приподнимая въ первый разъ завѣсу, подъ которой скрывалась кора нашей планеты и жизнь допотопнаго міра, и указывая на переворотъ, постигшій за пять или шесть тысячъ лѣтъ назадъ землю, ни однимъ словомъ не выразилъ недовѣрія въ сказаніямъ Моисея, а напротивъ, прямо подтвердилъ достовѣрность писанія о послѣдовательности дней творенія. То-ли представляютъ намъ нѣмецкіе изслѣдователи по этому вопросу? Возьмите, напримѣръ, Циммермана и его сочиненіе «Міръ до сотворенія человѣка», пользующееся огромнымъ авторитетомъ въ Германіи. Несмотря на множество имъ-же самимъ приводимымъ фактовъ, подкрепляющихъ достовѣрность книгъ Моисея, онъ во многихъ случаяхъ прямо отвергааетъ библейскія сказанія. Конечно, въ ряду нѣмецкихъ коментаторовъ Библіи можно указать не мало такихъ, которые имѣли въ виду утвержденіе ея авторитета; но въ то-же время должно согласиться, что нигдѣ этотъ авторитетъ не встрѣчалъ болѣе рѣшительныхъ противниковъ, какъ въ Германіи.

У насъ въ Россіи вопросъ объ отношеніяхъ между Библіею и наукой, по особымъ обстоятельствамъ, до-сихъ-поръ не только не имѣть такой обширной литературы, какъ въ Западной Европѣ, но не представлялъ даже ни одного цѣльного, самостоятельного сочиненія и только затрагивался по частямъ, какъ-бы мимоходомъ. Вотъ почему мы съ особеннымъ удовольствиемъ встрѣтили книгу г. Вл... Библія и Наука, какъ первый опытъ самостоятельной обработки предмета, горячо интересующаго все европейское общество. Мы тѣмъ болѣе считаемъ долгомъ обратить вниманіе на это сочиненіе, что авторъ, при довольно обшир-

номъ знакомствѣ съ заграничной литературой трактуемаго предмета, не опирается въ своихъ положеніяхъ и выводахъ на иностранные источники и ни въ какомъ случаѣ не преклоняется передъ авторитетомъ нѣмецкихъ писателей. Главной точкою опоры въ опредѣленіи отношенія науки къ Библіи послужили ему идеи, высказанные митрополитомъ Филаретомъ въ его «Начертаніи бблейской исторіи» и въ «Запискахъ на книгу Бытія». Одно это уже показываетъ, что авторъ имѣлъ въ виду поставить обработку своего предмета въ независимое положеніе отъ выводовъ, сдѣланыхъ въ этомъ отношеніи европейскими учеными. Что касается научнаго значенія книги г. Вл..., то это зависитъ отъ того, съ какой точки зрѣнія смотрѣть на нее. Кто будетъ искать въ этомъ сочиненіи вполнѣ обработаннаго рѣшенія вопроса объ отношеніи Библіи и науки, того оно далеко не удовлетворить, какъ потому, что авторъ не обнаружилъ всѣхъ сторонъ своего предмета, такъ и въ томъ смыслѣ, что нѣкоторыя стороны вопроса обработаны съ недостаточною полнотой, а иная даже и совсѣмъ неудовлетворительны. Но если принять во вниманіе, что взятый авторомъ предметъ до-сихъ-поръ у насъ еще серьезно не обсуждался, и за исключеніемъ опытовъ по нѣкоторымъ изъ его частностей долженъ считаться новымъ и почти нетропутымъ, то значеніе сочиненія г. Вл... не подлежитъ сомнѣнію, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые отдѣлы его книги, какъ-напримѣръ опредѣленіе отношеній Библіи къ теологии и палеонтологіи, отличаются достаточной полнотою. Во всякомъ случаѣ, въ книгѣ г. Вл... мы видимъ первый и довольно удачный опытъ обработки предмета, съ которыемъ очень мало знакомо большинство нашей читающей публики.

Цензурный рецензентъ  
Григорий Астраковъ  
М. в. № 2





PG  
3011  
• M48

PG 3011 .M48 C.1  
Otgoloski na literaturynia i o  
Stanford University Libraries



3 6105 034 391 792

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 1998 - 111  
OCT 04 1998  
1998

